

10.335
1962



საქართველო
ბიბლიოთეკა

1917-1962

11

ЛИТЕРАТУРНАЯ

ГРУЗИЯ

1962

10.333
1962

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗЦА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ГРУЗИИ
Год издания шестой

69.997

СОДЕРЖАНИЕ

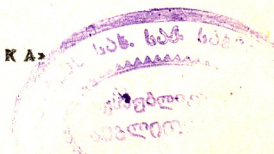
ВЛАДИМИР МАЧАВАРИАНИ. Октябрь в веках	3
ШАЛВА АМИСУЛАШВИЛИ. Ветер над Невою. Стихи. Перевод с грузинского В. Панова	6
ГЕОРГИЙ ЛЕОНИДЗЕ. Два взора. Рассказ. Пере- вод с грузинского Э. Ананиашвили	7
ОТАР ЧЕЛИДЗЕ. Снежный памятник. Стихи. Пере- вод с грузинского Е. Винокурова	13
ГЕОРГИЙ ШАТБЕРАШВИЛИ. Золотая десница. Рассказ. Перевод с грузинского К. Коринтели	14
ГРИГОЛ АБАШИДЗЕ. Строки о жизни. Стихи. Пе- ревод с грузинского П. Антокольского	22
ГРИГОЛ ЧИКОВАНИ. Синту. Из цикла «Одишские рассказы». Перевод с грузинского Д. Мгеладзе	23
ТЕЙМУРАЗ ДЖАНГУЛАШВИЛИ. У памятника Мир- зы Ахундова. Стихи. Перевод с грузинского С. Куняева	35
РЕВАЗ ДЖАПАРИДЗЕ. Вдова солдата. Роман. Пе- ревод с грузинского Л. Громеко и М. Квливи- дзе. Продолжение	36
СИЛОВАН НАРИМАНИДЗЕ. Море. Стихи. Перевод с грузинского Д. Голубкова	61

11

НОВАБРЬ

1962

См. на обороте





СЕРГО ПХАКАДЗЕ. Шоколадная люлька. Юмореска.
Перевод с грузинского В. Талахадзе 62

К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ИЛЬИ ЧАВЧАВАДЗЕ

ИРАКЛИИ АНДРОНИКОВ. Четыре года из жизни Ильи 65

СЕРГЕИ ГОРОДЕЦКИЙ. Памяти грузинского поэта.
Стихи 71

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ЭДУАРД ЕЛИГУЛАШВИЛИ. Поэзия Л. Сулаберидзе в оригинале и в переводах 72

ДОКУМЕНТЫ, ПИСЬМА, ВОСПОМИНАНИЯ

Во славу отечества! 78

ИСКУССТВО

М. ДОЛИНСКИЙ, С. ЧЕРТОК. «Для музыки я родился в Тифлисе». Окончание 82

Обложка работы худ. Р. Кош.

Редактор МИХАИЛ МРЕВЛИШВИЛИ

Редакционная коллегия:

**Э. АНАНИАШВИЛИ, М. ЗАВЕРИН, М. ЗЛАТКИН,
А. КУЗЬМИЧЕВ, А. КУТЕЛИЯ, К. ЛОРДКИПАНИДЗЕ,
В. МАЧАВАРИАНИ, Э. ФЕЙГИН, Д. ШЕНГЕЛАЯ.**

Заместитель редактора Э. ЕЛИГУЛАШВИЛИ.

Владимир Мачавариани

Октябрь в веках

Сорок пять лет — это не мало, но и не очень много в жизни человека. Сорок пять лет — это меньше чем миг, мгновение в жизни народа, в жизни государства. Но ведь бывают мгновения, равные по своему значению годам, столетиям и даже тысячелетиям! Прожитые нашей страной сорок пять лет, оказались именно такими, удивительными и величественными, равных которым, пожалуй, не знает полная драматическими, а порой и трагическими событиями долгая история человечества.

Началось это в те памятные дни Великого Октября, когда залп «Авроры», не столько разрушительный, сколько символический, оповестил мир о начале новой эры в истории человечества. Октябрь не был, как это стараются доказать некоторые ученые мужи на Западе, следствием случайного стечения обстоятельств. Октябрь — закономерный результат развития насыщенной событиями многовековой истории многонациональной, но единой России. Октябрь веками был выстрадан народом, искавшим правду жизни.

Известно, что царизм правил Россией неразумно, неумно, не говоря уже о жестокости и варварстве всего его государственного, духовного склада и строя. Но даже сквозь эту кромешную тьму и железную ограду пробивались воля и гений народа.

Как губка, народы России впитывали в себя все лучшее, все передовое, что создавалось в мире. История России может показаться парадоксальной. Низы, погрязшие во тьме и нищете, и тут же выдающаяся интеллектуальная сила нации, и не одной русской, а многих, населяющих страну, которая шла вровень с прогрессом человечества, а последние века и опережала многие европейские, экономически более развитые страны. Но ничего парадоксального, загадочного в этом нет. Пути России вполне исповедимы. Своеобразие исторического процесса, раскинутость государства на просторах Европы и Азии, скрещение в ее границах культур Востока и Запада, суровость Севера и чарующая нега Юга; именно разнообразность, многонациональность государства, радившая разнообразную и разностороннюю культуру; убыстренный темп развития капитализма, создавшего мощный рабочий класс, сумевший повести за собой тружеников земли; гений Ленина, познавший все богатство и возможности России, не только русских, но и других народов, соседствующих веками в одних границах... Все это определило историческую роль великой страны.

Октябрь был единственно возможным, логически мыслимым исходом огромной эпохи в развитии государства российского, всех народов, населявших эту огромную страну.

Октябрь явился концом старой и началом новой эры не только в истории России, но и всего человечества, ибо опыт Октября стал достоянием народов всего мира.

Во главе со своим гениальным вождем В. И. Лениным большевики решали в Октябрьской революции национальные задачи и в силу характера самого этого исторического акта решали и великую интернациональную задачу, ибо нет у пролетариата, у рабочего класса национальных задач вне большой интернациональной перспективы.

Великая Октябрьская социалистическая революция, конечно, победила в определенных международных и внутренних условиях. Именно они и определили ее гигантский размах, несокрушимую силу, могущество и всемирное значение.

Россию населяли более ста пятидесяти наций, народностей. Разноплеменная империя, как ее определил В. И. Ленин, была тюрьмой народов, но даже в этой тюрьме не прекращалась жизнь — народы творили свою историю, непрестанно и взаимно обогащая друг друга. В свержении царизма немалую роль сыграл мощный поток широкого общедемократического национально-освободительного движения, который подрывал основы империи двуглавого орла. Гений В. И. Ленина, партия коммунистов сумели ввести этот поток в общее русло революционной классовой борьбы рабочего класса, борьбы крестьян за землю, широких демократических слоев народа за обновление всех устоев, всех основ жизни. Единственной гарантией безусловной победы над старым миром было это единство всех сил, борющихся против самодержавия, против капиталистического рабства.

В России размежевание сил шло в основном не по национальному, а по социальному признаку. Эксплуататорам противостоял единый фронт трудящихся всех народов. Величайшая заслуга В. И. Ленина, его когорты, его партии состояла в создании именно этого единого фронта трудящихся всех народов, всех племен, проживающих в России.

Союзу пуришкевичей, победоносцевых, марковых вторых противостоял фронт Чернышевского, Герцена, Белинского, Плеханова, Чавчавадзе, Церетели, Шевченко, Сундукяна, Туманяна, Ахундова, Райниса, Гафура, Абая Кунанбаева. В. И. Ленин развил, углубил этот исторически сложившийся фронт освобождения народов от социально- и национального гнета, придал ему единую целенаправленность.

После победы Октябрьской революции на повестку дня встали новые задачи, решение которых требовало преодоления больших трудностей, ибо идти надо было неизведанными путями. В. И. Ленин никогда не скрывал размеры этих трудностей, не убаюкивал народ сладкоречивыми обещаниями и посулами. Он писал: «...Переход к мирным задачам управления всем населением без различия классов, — понятно, что такой переход в обстановке незаконченной еще местами гражданской войны, в обстановке громадных военных опасностей, угрожающих Советской республике и с запада и с востока, наконец, в обстановке неслыханной разрухи, созданной войной, — понятно, что такой переход представляет... огромные трудности».

И они были преодолены. Партия сумела возродить страну, превратить бывшую царскую империю в свободный союз советских социалистических республик, придать этому союзу выдержавшую все испытания стабильную государственную форму. В этом году мы

празднуем сорокапятилетие Октября и сорокалетие со дня основания Союза ССР, который партия отстояла в жестоких битвах гражданской и Отечественной войн. СССР стал ядром, вокруг которого образовалась мировая система социализма, сплотились все народы, борющиеся за демократию, прогресс, справедливость, за мир во всем мире.

Советский Союз стал оплотом, бастионом мира во всем мире. Кажется, никогда за 45 лет нашего нового бытия не сказалось так ярко миролюбие советского народа, как в эти грозные дни октября и ноября 1962 года, когда в результате авантюризма правящих кругов США мир стоял перед опасностью страшной, катастрофической по своим последствиям термоядерной войны.

Правительство Советского Союза последовательно, мудро сохраняя твердость, охраняя престиж социалистического государства, делает все, что в его силах, чтобы сорвать замыслы агрессоров, сохранить мир во всем мире.

Партия подняла народ, разбудила, организовала его неиссякаемую моральную, интеллектуальную силу, свершила культурную революцию, глубину и размах которой не в силах постичь многие псевдотеоретики Запада. И это, действительно, похоже на чудо: еще полвека назад полуграмотная страна стоит сейчас в аванпосте мировой цивилизации и культуры. В этом сказалась дальновидность ленинской политики, мудрость партии, которая творит для народа, именем народа. За сорок пять лет партия развила дальше свою идеологию — марксистско-ленинское мировоззрение, — обогатила ее новыми данными науки и творческим опытом масс. Наиболее ярко это выражено в решениях XX, XXII съездов КПСС, в новой Программе Коммунистической партии Советского Союза. Ее теоретическая мысль неуклонно опережает практический опыт строительства социализма, коммунизма. Именно в практике этого строительства она черпает новые выводы, постоянно обогащая эту практическую деятельность миллионов людей, самоотверженно борющихся за построение коммунизма, за выполнение своего интернационального долга, за упрочение нового социалистического Отечества, во имя будущего не только своего народа, но и всего человечества.

Революция — процесс неостанавливающийся, все время выпрямляющий ход поступательного движения к коммунизму.

Громадность целей коммунистического преобразования общества предопределяет трудность задач, встающих перед новым обществом.

Партия наша доказала народу, что она умеет преодолевать любые трудности, любые препятствия; она ведет народ от победы к победе.

Сорок пять лет бытия нашей страны — яркий тому пример, поучительное тому доказательство.

Партия нас вновь зовет на решение новых, более грандиозных задач строительства коммунизма. Наш народ, верный великим идеям марксизма-ленинизма, сметает с пути все трудности, все препятствия, все преграды и, ведомый партией, идет к вершинам коммунизма.

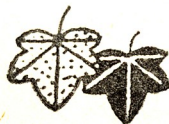


Шалва Амисулашвили

ВЕТЕР НАД НЕВОЮ

Несется вольный над Невою ветер...
В его гуденье песню оброну.
Стоит «Аврора», алая в рассвете,
со звоном волны бьются о броню.
Молчит корабль, в седой волне по пояс,
Нева бормочет, с прошлым говоря,
и на гранит выплескивает повесть
о легендарных залпах Октября.
Старик стоит, а ветер флаг полощет,
волною ветер прядь седую вьет,
он на корабль взбирается наощупь
и медленно по палубе идет.
«Кого ты ищешь?» — спрашивает деда
нахимовцев немолкнувший прибор.
Старик садится возле пушки медной,
задумавшись над грозною судьбой.
Здесь молодости тучи грозовые,
здесь дальние и светлые пути.
Отсюда шла в грядущее Россия,
начало новой эры возвестив.
Народа подвиг время не потушит,
история бессмертна на века.
Ласкает ствол шестидюймовой пушки
мозолистая, крепкая рука.
Уходит грусть, и дышит снова ветер,
и командоры радостно спешат.
— Тот первый залп, его я слышу, дети,
он и сейчас гремит в моих ушах.
— Мы тоже слышим! — отвечает юность.
— Так грянем вместе, — говорит старик, —
споем ту песню, что вела в бою нас,
что с нами шла, в руках сжимая штык.
— Споем ее! — подхватывает ветер,
и вот летит, звеня, навстречу дню.
Поет «Аврора» песню о рассвете,
со звоном волны бьются о броню.

Перевод с грузинского В. Панова



Георгий Леонидзе

Два в з о р а

РАССКАЗ

Перевод с грузинского Э. Ананишвили

Если вам приходилось ездить по Кахетинской дороге, вы, наверное, знаете балку Лочинис-Хеви, что сбегает с гор неподалеку от Тбилиси.

Застенчиво журчит под новеньким мостом неширокая речка, катит ласковые струи по песчаному дну. Летом, знойной порой, ее, пожалуй, и не сразу заметишь — точно раненый голубь, чуть слышно шелестящий подбитым крылом, прокладывает крошечный ручеек себе дорогу.

Помнит и эта речушка мое детство!

С веселым клекотом, искрясь и сверкая, неслась она через обширную усадьбу моей тетки. Да, я и этот маленький горный поток — старые знакомцы. Спросите его — он расскажет, как мальчиком приезжал я в гости к своей тетке. Как заботлив был дядя Николоз, ее муж, какие у меня были славные товарищи в этой деревне — Сабеда, Аглия, Арсен. Зазила, Кетэ, Маиса, Читипеха — Птичья лапка, Натрия, Шошия — Скворец, Зецура, Лекеура и сколько еще других...

Брат дяди Николоза, Гарсеван, — он ведь тоже приходился мне родней — был владельцем маленькой водяной мельницы, что шумела в виноградниках на краю деревни. Вертелось болтливое мельничное колесо, дробилась о его лопасти, рассыпаясь несчетными алмазными осколками, мощная водяная струя. Я присаживался около мельницы в прохладной тени огромного ореха, чтобы полюбоваться искрометным струением водопада, и мне казалось, что тысяча радуг обвивается вокруг мельничного колеса...

Однажды я нашел мельницу на замке. Оказалось, что источенный старостью мельник Чалхия скоропостижно скончался — прилег среди мешков с зерном и заснул навеки.

Чалхия был глубокий старик, дети причиняли ему беспокойство, и он не подпускал нас к себе.

Гарсевану было от души жаль служившего ему верой и правдой мельника, и он уделил из своих запасов хлеб и вино для поминок. Добрый был человек Гарсеван, хотя и крутой, своенравный. Меня он очень любил и часто просил почитать газету: нравилось ему, что такой малыш, как я, свободно разбирается в печатном слове.

Незадолго до того, как отправить меня в Клдис-Цкаро, мама продала моего любимого серого быка по кличке Гнола¹.

Работник жаловался, что Гнола не идет под ярмо, противится погонщику, что запрягать его — сплошное мученье. А я нежно любил этого быка. Очень был хорош наш Гнола! Масть — серо-сизая, цвета голубино-го крыла, глаза — большие, красивые, с поволокой. Он и сам был привязан ко мне: позволял висеть у него на шее, ел траву из моих рук... Ни на какого другого быка не променял бы я Гнолу, но что было делать? Пришел покупатель, обрадованно накинул Гноле на шею крепкую бечеву из щетины и повел его со двора... И вдруг у самых ворот, бык повернул голову и кинул на меня взгляд, от которого я застыл на месте. До сих пор помню я затуманенные глаза Гнолы, грустные, полные укоризны...

В Клдис-Цкаро я приехал огорченным, взволнованным разлукой с моим любимцем...

Через несколько дней я снова спустился к мельнице и нашел на этот раз дверь ее открытой. По-прежнему вертелось деревянное колесо. Вместо Чалхии вышел навстречу мне новый, незнакомый мельник, как видно, только что поселившийся здесь. Я смутился и повернул было назад, но мельник заметил меня, окликнул ласково... И мы познакомились...

Кротким и ясным показался мне мельник Ражден — подстать самой этой мельнице и речке, крутившей ее колесо. Сразу же раскрылся он весь передо мной. И я в свою очередь поделился с ним своими горестями, рассказал о сером быке... Мельник сочувственно выслушал меня, и я заметил слезы у него на глазах. Это меня поразило. Прошло время, мы подружились.

Раждена называли в насмешку звездочетом, мудрецом не от мира сего; и в самом деле, я видел не раз, как он с увлечением вглядывался в усеянное звездами ночное небо.

— Погляди на ту яркую, веселую звездочку! Вишь, как она рассыпает лучи охапками!.. Люблю ее, живет она меня! — И Ражден указывал рукой на сияющую в венчике лучей звезду. — А вон другая, поодаль — тусклая, гаснущая — совсем как я! — душа в ней еле теплится... Эту я не люблю, нет! — говорил он с улыбкой.

Расположившись на зеленой мураве около мельницы, этот сельский Фламарион, точно замороженный переливчатым мерцанием звезд, подолгу созерцал сверкающий небосвод.

— Кто знает, может и там есть род человеческого, шумят города, прозябают села... Может и там не знает удержу обезумевшее богатство, а бедняки лижут камни от голода... А может, там нет смерти, и люди живут вечно, — добавлял он после долгого молчания.

— Иногда мне хочется взлететь в вышину — хоть мечту туда послать... Стать крылатым и достигнуть неба, попенять, пожаловаться матери-солнцу...

— На кого?

— На жизнь, на злых людей, на судьбу... Эх, не сумел я отыскать свою звезду!

А жаловаться бедняге и в самом деле было на что... Кроткий Ражден был обиженным судьбой человеком. Сначала он потерял жену, потом — то ли в годы войны, то ли бродяжничая по белу свету, лишенный заботы и даже простого присмотра, — схватил чахотку. Прослышал он, что есть где-то в горах чудодейственное место Абастумани, це-

¹ Гноли — по-грузински горлица.

лительный воздух которого может победить его недуг. Но поездка в Абастумани так и осталась для него недостижимой мечтой...

Попробовал было Ражден сам взяться за свое лечение — усиленно питаться, налег на яйца и молоко. Но сельчане подняли его на смех. Ему приходилось глотать яйца тайком, прячась в укромных уголках виноградника или запершись в своей хижине. Но разве уберечься от глаз шутников? И вскоре Ражден, обозленный насмешками, совсем отказался от яиц и молока, так что даже вовсе не брал их в рот, — все равно от них никакого проку!

...А замшелое мельничное колесо все кружилось, как сама жизнь; жемчужная струя, ударяясь в него, разбивалась на тысячи осколков... Вечерами небосвод сверкал алмазной пылью Млечного пути, девственно ясным светом сияли звезды... В молочной ночной мгле дремали раскидистые орехи и статные осины, и под темной ченью их сумрак казался еще гуще.

Месяц, месяц, серп небесный
Встань над горною громадой,
Сердце грустное обрадуй... —

напевал про себя Ражден... А мы, ребяташки, слушали его, затаив дыхание.

К нам спустись скорее, солнце,
Что ты прячешься за горкой?

Рассказам мельника не было конца. Грамоте он не был учен и часто просил меня почитать ему и слушал с довольной улыбкой. Не все книги, однако, ему нравились.

— Нет, не то здесь написано, чего моя душа просит! — говорил он иной раз.

Немало видел на своем веку Ражден.

— В каких только не побывал я переделках — разве что между мельничными жерновами не пришлось протиснуться!

И в самом деле, многое испытал за время своих скитаний Ражден. Чего стоила одна Японская война! Дважды он был ранен — под Ляо-Яном и в Порт-Артуре.

— Какой это ужас, война — и не спрашивайте! Что народу перебили, сколько я видел рук и ног отрубленных... Нет, ни один суд не мог бы оправдать нашего царя, — тут он понижал голос и оглядывался с опаской. — Что они творят, эти цари! Поглядеть на дела их рук — экое зверство!... Нет, зверь и тот отшатнется! Иного солдата так и расплющило на земле — точно черное сало размазали. Слов не хватит, чтобы рассказать...

Вернувшись с войны, Ражден нашел дома полное разорение. Мать его умерла, отца и до войны уже не было в живых, единственная сестра вышла замуж и переселилась в другую деревню. Остался только пустой, брошенный дом. Во дворе, заросшем травой, чья-то коза, взгромоздясь передними копытами на изгородь, обгладывала ветви фруктового дерева. Соседи вручили Раждену срезанную на память и бережно сохраненную прядь седых волос покойной его матери...

Отвоевавшемуся солдату надо было подумать, как жить дальше.

На другой день, посоветовавшись с соседями, он решил занять место покойного мельника Чалхии.

...Подолгу прислушивался Ражден к музыке камышей и шесту осинового листа.

— Ни одно дерево не поспорит в шелесте с осиной! — говорил он убежденно.

Рассказы Раждена о природе были неисчерпаемы. Помню, как любил он расцветенные солнечными лучами уступы безоблачной горы Иално, что высится около Марткоби, зеленые склоны Цив-Гомборского хребта...

Радовали его прозрачная лазурь небес, усеянный цветами луг, колышущаяся нива... Виноградная лоза, увешанная золотыми гроздьями... Корзина, полная розовощеких персиков...

Он знал название любого полевого цветка, любой травы, птицы; и все ему были милы.

— Вот, кровянка, цикорий, слепокур, спорыш, пастушья сумка, икотная трава, водяной омег!

— Вот козлец-мохнатка, облепиха, вороний хвост, солодковый корень, повилика, гусиная трава, бородавник, можжевельник, хмель...

— Знать бы — какая из них дарует бессмертие!

— Это вот зовется овсяницей. А это — полынь. Эта же — полуночник.

— Вон, на заборе, зимородок... А вон — маленький сорокапут, вон — пеночка, а вон — завирушка. Жальче ее нет пичужки на свете. Смотри, не разори ее гнезда!

Каменного скворца, пожирателя саранчи, он уважал, — за пользу, приносимую человеку. Быка Цаблюю называл братом хлебопашца. Любил смотреть, как муравьи волокут свою ношу.

— Живет муравейник недолгий век, а хлопочет, запасается на сто лет!

Он умел удивительно простодушно взглянуть на человека — смеющимися глазами...

Дымчатую, только что срезанную кисть винограда он целовал в умилении; вид краснощекого яблочка веселил ему душу; спелое зерно, изобилие урожая вызывало в нем благоговейное чувство; хлеб — свят, урожай — награда за труды, недаром он так и зовется у нас, грузин, «чирнахули» — ценою горестей, тягот добытый.

Потянет, бывало, прохладный ветерок — у него на лице улыбка.

— Вей, вей, ветерок, не знай устали! Имей жалость к человеку. Мы здесь прохлаждаемся в тени, а сколько других трудится на самом солнцепеке! Гуляет серп, громоздятся снопы, — и каждый полит жарким потом! Никогда об этом не забывай!

Израненное топором дерево вызывало в нем жалость.

— Навостри уши, прислушайся — все на свете имеет душу! Отчего же иначе земля плачет? Разве ты никогда не видал ранним утром слез земли? Роса на траве — это и есть ее слезы. Что они значат? Грехи наши оплакивает матушка-земля? Или радуется солнечному восходу? Знаешь ты, что деревья и камни могут печалиться и горевать? А земля умеет и радоваться: весной, когда сады покрываются белым цветом, — это земля смеется от радости. А небо смеется звездами!

Улегшись навзничь, вглядывался он в небо, в Млечный путь и, восхищенный зрелищем, говорил:

— Не будь в небесах этого Млечного пути, жизнь наша не стояла бы ломаного гроша!

Ражден не мечтал нанять на золотую жилу, как многие. Расшитая золоченым бисером лужайка, зеленая мурава, осыпанный сияющими плодами сад были его золотыми россыпями; с ними он водил каждо-

дневно долгие беседы, щедростью и девственной чистотой их восхищался.

Кипение речной стремнины притягивало его: он не выносил мелко-
вонючая вода.

Так он жил, не зная иных покровителей, кроме природы, дивясь богатству солнечного царства цветов и скудости человеческой. «Откуда берутся под этим сверкающим солнцем грязь и нищета, когда душа моя утопает в цветах?»

Особенную нежность вызывала в нем «Христова трава», что росла на склонах ущелья. Из любви к Христу почитал он это растение с длинными, плоскими листьями, на которых, согласно старинному поверью, записан «плач по Христу». Говорили, что таинственные письма эти для Раждена — открытая книга...

Скоро дела у Раждена пошли так плохо, что впору бы оплакивать его самого. По неосторожности попал он в беду: работая около мельничного колеса, угодил рукой между лопастями, и колесо затянуло руку... Долго болел он. Деревенские женщины выходили его, спасли от смерти целебными травами и старинными мазями, но руки Раждена лишились навеки, рука у него отсохла.

Через некоторое время, оправившись от первого приступа горя, бедняга послал к Гарсевану человека с робкой просьбой: облегчить хоть немного его утрату, не дать ему по миру пойти.

Гарсеван прервал посла на полуслове: «Причем тут я, ежели Раждена на небо загляделся, звезды считаючи, и рукой в колесо угодил? С меня-то какой спрос? А во-вторых — я и сам собирался помощь ему оказать. Чего он суется раньше времени, или думает, что у меня камень вмести сердца?»

Тогда, по совету сторонних людей, Раждена подал на Гарсевана жалобу. Тут уж Гарсеван совсем оскорбился — как смеет мельник таскать его по судам? И уперся на своем.

Гарсеван славился на все ущелье своим достатком: дом у него был полная чаша, рог, налитый по край. Ореол изобилия окружал его. Гарсеван не в сорочке родился и не у Христа за пазухой вырос — просто был смолоду человеком деловитым, прилежным и немало нажил добра. Но теперь он не стремился больше приобретать, не заботился о стяжании. Детей Гарсеван не имел, и все имущество его должно было перейти к непрямым наследникам. И Гарсеван жил привольно, тратил не считая — большая часть его добра уходила на широкое гостеприимство.

Умными людьми мир держится — такая была слава у Гарсевана; но к этому он сам добавлял самодовольно: «Умное слово в ухе у дурака спит!»

— Простофили! — говорил он горячась. — Что, вспомоществования захотели? Пусть трудятся, пусть сами зарабатывают. Почему я обязан всех кормить? Нашли, с кого легко драть!

С обеих сторон возникла обида. Деревня разделилась на два лагеря: одни были на стороне хозяина, другие стояли за мельника. Пошла беготня по судам, поиски свидетелей...

Два года тянулось дело — и наконец Раждена проиграл его! В тот день с утра трижды раскаляли тоннэ¹ в доме Гарсевана, на заднем дворе закололи овцу и упитанную телку, перебили несметное количество кур, сняли крышку с сорокаведерного кувшина... Два дня пировали — ели, пили, веселились вволю, бушевали... И лишь на третий день разъехались гости, ускакали, нахлестывая коней, в разные стороны. Целую не-

¹ Тонэ — печь для выпечки хлеба.

делю пришлось убирать дом, чтобы привести его в первоначальный порядок.

Ражден больше не работал у Гарсевана, но частенько заглядывал в виноградники. Приходил, присаживался на травке и любовался дали мельницей, на которой хозяйничал теперь другой.

Однажды я и Гарсеван сидели под яблоней. Я читал ему свежую газету, он потерял очки и не мог прочесть ее сам.

Вдруг на тропинке, в глубине виноградника показался Ражден, пришибленный, угнетенный, и торопливо прошел мимо. Гарсеван заметил беднягу, почувствовал жалость и с благодушием победителя сказал мне:

— Беги за ним, позови его сюда — хочу сказать ему доброе слово...

Говорил же я — добросердечный человек был Гарсеван!

Я обрадовался, догнал Раждена, окликнул его. Ражден замедлил шаг, обернулся и взглянул на меня... Как когда-то серый бык Гнола... Таким же полным укоризны взглядом, от которого у меня замерло сердце...

Больше я его никогда не видел.

Но стоит мне проехать мимо балки Лочинис-Хеви, как тотчас же встает перед моими глазами бедняга Ражден. Точно из журчащих волн маленького потока зовет меня печальный его голос. Это ведь мое детство искрится передо мной в быстрых речных струях!

Нет, никогда не перестанет тревожить меня укоризненный взгляд Раждена — так же, как до сих пор не дают мне покоя затуманенные глаза быка Гнолы.



Отар Челидзе

СНЕЖНЫЙ ПАМЯТНИК

Пускай из снега водрузят
Мне памятник. Что годы?
На день! Капризы пусть грозят
Изменчивой погоды,
Пусть восходя светило дня
Меня повергнет в трепет.
И сын мой первым пусть в меня,
Смеясь, снежком залепит.
Пусть кожа на щеках смугла,
Я буду бел, как вата.
Хоть горских очагов зола
Была милей когда-то.
Я легкий памятник хочу!
Хоть век мной трудный прожит.
Землетрясение! Лишь к плечу
Дитя ладонь приложит.
А вместо глаз — два уголька.
Я их от света сужу.
Стоять я буду день, пока
Я не растаю в лужу.
Лишь день... Я уроню слезу
На бороду седую,
А после под ноги сползу
Людей, на мостовую.
Волос оторванную прядь
Развеет вихрь по свету...
Зимою, через год, опять
Явлюсь на площадь эту,
А город через много лет,
Меня коль позабудет,
В Тбилиси каждый снежный дед
Мне памятником будет.

Перевод с грузинского Е. Винокуров



Георгий Шатберашвили

Золотая десница

РАССКАЗ

Перевод с грузинского К. Коринтели

Сулхан протер глаза, потянулся, огляделся по сторонам. В комнате никого не было... На столе стоял синий глиняный кувшин с мацони, накрытый фаянсовой миской. В миске лежала самшитовая ложка Сулхана. На деревянном блюде — свежий хлеб, наверное, только что вынутый из тонэ, молодые огурцы и зелень.

Все ушли! Оставили ему завтрак и ушли!

С тех пор, как наступило лето, дед Сулхан целыми днями никого дома не видит. У каждого свои дела. Невестка где-то за выгоном свеклу убирает. Старшая внучка днем работает на комбайне, а вечерами то на комсомольское собрание бежит, то пишет статьи в колхозную стенгазету, а то еще на мельнице пропадает. Да, на мельнице, на новой колхозной мельнице.... С тех пор, как в селе появилось белое здание электромельницы, все время она там торчит. Домой является только к ужину.

Маленький Сулико, названный так в честь дедушки Сулхана, тоже чем-то занят. Даже у него нет времени, чтобы своим лепетом развлечь уставшего от одиночества старика.

Как началась жатва, он поднимается на заре и уходит вместе с Натэлой. Весь день в поле бегают, собирают колосья и тащит на гумно. Малыш вытянулся, загорел, окреп...

Бесконечно длинный летний день проходит так, что дедушка Сулхан ни с кем и словом не перекинется. Встанет он рано утром и уныло бродит по дому или по двору, то заглянет в заброшенную кузницу, покрутится там в сумраке и прохладе, кряхтя, снимет с железного крюка свою любимую связку — напизанные на проволоку заржавленные гайки, подковы и всевозможные металлические части. Все это когда-то было нужно, каждая вещь имела свое применение...

После тщательного осмотра связка водворяется на место.

Потом Сулхан принимается за другие дела. Оказывается, надо наточить затупившуюся мотыгу, обстругать топориче... Но быстро утомляется некогда сильная рука, начинают дрожать колени. И снова бредет Сулхан во двор, садится отдыхать в тени огромного орехового дерева. Но едва

он закрывает глаза, как закудахчет курица или залает собака — и сна как не бывало...

Солнце лениво ползет вверх. Когда-то будет полдень!

«Очень уж длинен день, — думает Сулхан. — Ребенок, родившийся утром, к вечеру может уже научиться ходить». И печально вздыхает.

* * *

Вот и нынешнее утро такое же одинокое. Сулхан приподнялся в постели, прислушался. Со двора донесся знакомый скрип кузничной двери. Потом какой-то шум — словно по земле волокли железный лом, и чьи-то легкие торопливые шаги. Сулхан покряхтел, одел короткий архалук из черного сатина, подошел к двери, толкнул ее. Окованная железом тяжелая дверь отворилась медленно, со скрипом, и в комнату, вместе с утренней свежестью, ворвался поток солнечных лучей.

Старик остановился на пороге, ослепленный ярким светом. Приложив худую жилистую руку козырьком ко лбу, крикнул в пустоту двора:

— Эй, кто там?

Голос был слабый, потерявший былую звучность и силу.

На этот окрик со ступеньки каменной лестницы вскочил маленький мальчик. В руках у него была глиняная миска с мацони и кусок хлеба.

— Это я, дедушка, чего тебе?

Сулхан вздрогнул от неожиданности. Он было открыл рот, чтобы ругнуть словно из-под земли выскокившего мальчишку, но, взглянув на сияющего улыбкой внука, подавил в себе раздражение и ласково спросил:

— Ах ты, чертенок, откуда ты здесь взялся? И где твоя мама?

— Она уже давно в поле.

— А Натэла где?

— Натэла?... Натэла... — Мальчик смешался и, опустив глаза, метнул быстрый взгляд на калитку.

— Натэла где, я спрашиваю?..

— А вон... там она... на мельницу идет Натэла!

— Что, что? Зачем ей на мельницу идти, мы вчера, поди, все зерно перемололи?!

Сулхан окинул взглядом свой двор.

У калитки стояла девушка лет семнадцати-восемнадцати, и пыталась ее открыть. Щеколда не поддавалась.

Сулхан тяжело спустился по лестнице, не спеша пересек двор и молча остановился в двух шагах от внучки. Та была настолько увлечена своим делом, что и не почувствовала приближения деда.

Сулхан не поверил своим глазам: у Натэлы через плечо висела его связка. Гайки, подковы, надетые на проволоку, гремели при каждом движении девушки.

— Это еще что?! — воскликнул озадаченный Сулхан.

Натэла вздрогнула, обернулась, связка соскользнула с плеча и упала на траву. Девушка вскрикнула — какая-то железка оцарапала ей ногу. В широко раскрытых глазах ее был испуг — видно, ей не хотелось встречаться сейчас с дедом. Сулхан молчал. Натэла опустилась на траву и потерла рукой загорелую икру — там алела тоненькая полоска. И вдруг произвольным быстрым движением схватила валявшуюся связку.

— Куда ты это несешь, внучка?

Удивленно и укоризненно глядел он на девушку. Та стояла на коленях, крепко зажав в руке ржавую проволоку. Натэла была очень взволнована; большие темные глаза ее заволокли слезы, и в них были и смущение, и робость, и в то же время какое-то упорство.

— На мельницу...

Дедушка Сулхан невольно посмотрел вдаль, на белое здание, потом перевел взгляд на маленькую заброшенную мельницу, стоящую в овраге, неподалеку от его дома. Ветхое строение покосилось и, словно прислушиваясь к чему-то, склонилось над пересохшим руслом реки.

— А для чего тебе эта связка?



Натэла молчала, глядя исподлобья в сторону.

— С утра до вечера где-то ходишь! — продолжал Сулхан. — И что ты крутишься около этого парня, сына Джаба?

Упорное молчание внучки только распалаяло старика. Он постепенно повышал голос, искал, что бы сказать ей неприятное, чем бы ее уколоть.

— И что в нем хорошего? Ни рожи, ни кожи, на человека не похож, усы и волосы желтые, как сухое сено, глаза щелочками, как у черта! Ну чем он тебе так нравится, а?

— Дедушка Сулхан!.. — Натэла умоляюще взглянула на деда, но тот махнул рукой, пожал плечами и, повернувшись к ней спиной, побрел к дому.

— Уходи, уходи и не показывайся мне на глаза. Иди и живи у него на мельнице, — не оборачиваясь, пробурчал он, но так, чтобы Натэла услышала.

— За что ты его так невлюбил, дедушка! — чуть не плача воскликнула она. Потом поглядела на злополучную связку и вдруг, тряхнув головой, рванулась к калитке, откинула щеколду и выбежала со двора. Калитка со стуком захлопнулась.

Мальш, зазевавшись, выронил из рук миску с мацони. Он не понимал, в чем дело и почему дед так сердится на сестру. Сулхан, погруженный в глубокое раздумье, поднимался по лестнице. Невидящим, пустым взглядом окинул разлитое по ступенькам мацони и черепки миски.

«Нет, вы только посмотрите на этого дьяволенка, что он со мной делает?! — думал старик. — Сначала он открыл в колхозе новую кузницу... Потом выстроил новую мельницу, и вот уже сколько времени ни одна душа не заглядывает ко мне на мельницу... А теперь внучке моей кружит голову...»

От этих мыслей его отвлекла тень внука, пересекшая ему дорогу. Маленький Сулхан пытался незаметно улизнуть со двора.

— А ты куда, постреленок?.. —

прикрикнул на него дед. Дойди лучше в дом и вынеси мой кувшинчик с мацони... И ложку захвати, и хлеба... Что это ты натворил здесь, миску разбил?!

Вскоре дедушка и внук сидели рядышком и с аппетитом завтракали.

— Кха, кха!.. — маленький Сулхан давился, торопясь поскорее доест и побежать вслед за сестрой.

— Не спеши, сынок, видишь, перхнулся!

Но тот уже начисто выскреб всю миску. Проглотив последний глоток, он устался на дно миски, где неуклюжими толстыми буквами было написано «Натэла».

Прохладное, чуть кисловатое буйволиное мацони умиротворяюще подействовало на Сулхана. Он несколько раз с улыбкой поглядел на внука.

— Дедушка Сулхан, Натэла мне сказала, что в стенном шкафу лежит полкурицы, пусть, говорит, дедушка без нас пообедает, мы запоздаем...— Мальчик, смущенно потупившись, переминался с ноги на ногу.

— А ты куда идешь?

— Я тоже на ме... на мельницу...

Старик не нашелся что возразить, к горлу его подкатил какой-то ком. Все туда тянутся, все...

Мальчик скрылся за плетнем.

* * *

Несколько дней назад и Сулхана потянуло к этому белому зданию.

«Интересно поглядеть, что за диковина». Оделся, взял свою полированную кизилую трость, чтобы было что повертеть в руках, и направился к новой мельнице. Никому не сказал куда идет. Да и кому говорить: все, как обычно, были в поле!

Огромное багряное солнце, как пылающий шар, медленно уходило куда-то в неведомые дали, за край земли.

Сулхан свернул сначала в парикмахерскую.

— Пожалуйте, дедушка Сулхан,

пожалуйте! — с любезной улыбкой встретил его парикмахер.

Парнишка, лет двенадцати, щуплый, маленький, с рыжеватыми всклокоченными волосами, собирался сесть в кресло, но вежливо уступил очередь Сулхану.

— Чей ты, мальчик? — поинтересовался Сулхан, щуря в улыбке голубые глаза.

— Эстатэ мой отец! — словно ожидая его вопроса, выпалил мальчик.

— Эстатэ... Эстатэ... который это Эстатэ? — Сулхан задумался, перебирая в памяти всех известных ему Эстатэ. Бог знает, сколько их встречал он на своем веку.

— Я племянник сына Джаба, того, что «Золотой десницей» зовут, — с гордостью пояснил мальчик.

«Золотая десница»?.. Это еще что? Он отвернулся от зеркала; не хотелось видеть свое лицо.

Раньше «Золотой десницей» называли его, Сулхана. Под этим именем знали его на миру. А теперь что же? Теперь так называли кого-то другого? Отняли у Сулхана — и подарили сыну Джаба? И разве только имя!.. Нет, вероятно этот парень делом заслужил славу, иначе не обидели бы его, старого Сулхана.

— Раньше в нашем селе тоже был человек, которого звали «Золотой десницей», но потом мой дядя...

— Да замолчи ты, болтун этакий! — прервал разглагольствования парнишки парикмахер и начал намыливать щеки клиента. Сулхан закрыл глаза.

«Эх-хе-хе, Сулхан, Сулхан! Дядя этого мальчишки перещеголял тебя...»

Когда он вышел из парикмахерской, уже стемнело. Звездное небо было синим до черноты. Луна еще не взошла, она, как говорят у нас в деревнях, совершала вечернюю трапезу.

Сулхан свернул в переулочек и стал подниматься в гору.

Еще несколько минут — и появится электромельница.

Сулхан всю дорогу мечтал о том, чтобы не встретить сына Джаба. Он

один прекрасно осмотрит мельницу, уразумеет, в чем же здесь дело, почему все село, словно сговорившись, бежит на эту мельницу, почему село Сулхана, прозвище подарили другому.

Но вот из-за изломанных контуров гор медленно выплыла круглая темно-желтая луна, и ее неяркие лучи осветили белое здание электромельницы.

Старик решил передохнуть. У обочины дороги рос ясень. Толстые узловатые корни дерева причудливо извивались по земле.

Сулхан опустился на эту, самой природой созданную скамейку. По обеим сторонам дороги стеной стояли кусты ежевики и развесистые густые деревья. Лунный свет не проникал сквозь их густую листву. Сулхан, сидя в этом укромном уголке, издали разглядывал здание мельницы, белеющее впереди, и с горечью вспоминал встречу с рыжеватым мальчишкой в парикмахерской, разговор с ним, его удивленные глаза и обиженное выражение лица, когда парикмахер велел ему замолчать.

Сулхан глубоко вздохнул.

Вдруг распахнулась дверь мельницы. Две темные фигуры — мужская и женская — появились в освещенном прямоугольнике, и дверь затворилась. Двое, вышедшие с мельницы, шли навстречу Сулхану.

«Кто бы это мог быть? — подумал Сулхан. — Лишь бы не этот парень...»

Женщина шла впереди, за ней мужчина. Мужчина вскоре поравнялся с женщиной и взял ее за руку. Женщина отстранилась.

«Боже мой, кого она напоминает?! — Он привстал. Даже шею вытянул, чтобы лучше разглядеть идущих. — А парень... да это вроде бы сын Джаба!.. Нет, не может быть. — Он опять опустился на землю. Отогнал неприятную мысль. — Не дай бог!..»

— Значит, через три дня приедешь? — спросила женщина.

— Да.. Три дня без тебя!

Сулхан не разобрал сказанного.

но женский голос, правда очень тихий, показался знакомым.

Мужчина остановился, она тоже.

— Пойдем... Зачем мы стоим здесь? Пойдем, мне кажется, там кто-то есть... — едва слышно произнесла женщина. — Идем, я боюсь...

— Что ты, дорогая, кто там может быть! Тебе чудится, это всего лишь корни старого ясеня. — Он попробовал ее обнять, но она ускользнула и быстро пошла по дороге. Когда она миновала темный переулок и окунулась в серебристый свет луны, у Сулхана дрогнуло сердце — так похожа была эта девушка на Натэлу. И в подтверждение он услышал приглушенный голос:

— Натэла! Натэла!

Но женская фигура уже скрылась за поворотом дороги. Сулхан, как оглушенный, сидел под ясенем. Он даже не разглядел, кто же был спутником внучки — вернее, боялся убедиться, что с ней шел и ее звал именно этот дьяволенок, сын Джаба.

На мельницу он, конечно, не пошел. Посидев некоторое время под ясенем, он встал и медленно побрел обратно домой.

Этот случай вспомнился сейчас Сулхану и еще более взволновал его.

Легкий утренний ветерок теребил седые волосы старика, но ни ясное летнее утро, ни щебет птиц не радовал его сердца.

Эх, не всегда ведь он был таким, как сейчас.

Рано вставать — жизнь продлевать... Это было излюбленным изречением Сулхана. Встанет, бывало, чуть свет и нарочно начинает шуметь в комнате, чтобы поднять всех домашних, стучит трубкой по подоконнику, громко кашляет, а если и это не помогает, хлопает с грохотом дверьми, идет в кузницу и давай бить молотом по листу железа, раздувать мехи. Шум подымается невообразимый, но в этом шуме все же слышен зычный бас: «Вставайте, вставайте, погляди-

те, какое утро, какая вокруг красота!»

После этого спать, конечно, невозможно. А большой пестрый пегух, вскочив на плетень, орет во все горло, словно возвещая соседям: «Сулхан уже на ногах, поднимайтесь и вы».

И вправду, шум и суета в доме Сулхана как бы служили сигналом пробуждения для всей деревни. На дороге появлялись пастух, из всех дворов женщины выгоняли скотину. В дверях кузницы стоял Сулхан, щуря в лукавой улыбке глаза и подкручивая длинные темнорусые усы. Внуки бежали к нему, один повисал на правой руке, другой на левой, а младший, самый смелый и проворный, взбирался ему на плечо, и все четверо глядели на розовый небосклон и лилово-сизые горы, из-за которых вот-вот должно было появиться девятиокое солнце.

Но то было прежде, и с тех пор прошла целая вечность. Проклятая старость волчицей набросилась на Сулхана, сковала руки и ноги. Теперь — все наоборот. Внуки встают по утрам задолго до восхода солнца, когда Сулхан еще крепко спит. Они уходят тихонько, чтобы не разбудить, не потревожить деда... Эх, они думают — Сулхан всегда был таким немощным, сутулым стариком, как сейчас! Да что они могут помнить!

Давно уже он выдал замуж семерых дочерей, давно похоронил жену — скорбь по погибшему на фронте сыну преждевременно свела ее в могилу. Это горе сломило и Сулхана. Но он крепился — перед невесткой и детьми слезы не проронил за все время.

Все члены семьи заботились друг о друге, старались облегчить горе. Бывало, расстелит Натэла циновку на траве под деревом, маленький Сулико взбирается к деду на колени и, широко раскрыв черные блестящие глазенки, спрашивает:

— Дедушка, а ты правда был борцом?

— Кто тебе сказал, малыш? — улыбался дед.

— Да вот, мальчики говорили...

— Э-э, — оживлялся старик, — если уж ты хочешь знать, так спроси лучше Миху, сына Берика, он тебе обо всем расскажет, я ведь...

Натэла, услышав эти слова, тихо смеялась. Дед строго и удивленно глядел на нее.

— Что тут смешного? Чего ты кудахчешь, как курица?

— Да старый Миха еще в позапрошлом году умер!

— Господи, вот одурел я, совсем память отшибло!..

Да, мало осталось на этом свете сверстников Сулхана, свидетелей его молодчества. Но для чего ему свидетели, не верите — не надо... Закроет он глаза, и все предстанет перед ним, словно это было вчера.

Стройный, в ловко сидевшей на нем чохе, выбегал Сулхан в круг, одним своим видом наводя уныние на соперника. Оробев, тот старался увернуться от железных рук Сулхана, но быстро оказывался на земле. А вокруг в толпе стояли девушки и, затаив дыхание, наблюдали за стройным, мускулистым, широкоплечим парнем, сильнейшим борцом села. Наблюдали украдкой, ибо девушке не подобает любоваться мужской красотой.

Э, добрым молодцем был Сулхан, но не стоит сейчас говорить об этом. Ибо тот, кто много говорит, не способен к делу, а тот, кто делает, не говорит о себе. И Сулхан молчит.

Нить мыслей Сулхана оборвалась. До слуха его донесся шум автомашины. Два-три раза взревел мотор и заглох. Видимо, трудно было подниматься по крутой, размытой вчерашним дождем дороге. «Наверное, председатель», — пробурчал Сулхан.

Чья-то сильная рука распахнула калитку.

«Так и есть», — подумал Сулхан, увидев входящего во двор черноволосого плотного мужчину.

Гость еще с порога хотел было сказать что-то Сулхану, даже руку поднял, но вдруг споткнулся и упал на одно колено.

Сулхан поспешил ему навстречу,

протянул руку, помог подняться и тут увидел брошенную Натэлой злополучную связку.

— Прости, Шалва, эта проклятая связка... Мои шалопаи ничего на месте не оставляют, все вот так разбрасывают, — извинялся растерявшийся Сулхан.

— Эта связка и привела меня к тебе, Сулхан, — потирая ушибленное колено, смущенно проговорил Шалва. — Вчера твоя Натэла обещала... и сейчас она послала меня к тебе: дедушка, говорит, сердится на меня, пойди ты... Мельница стоит, понимаешь. Нам нужна ось для жернова, у тебя найдется или старую починишь?

«Что такое? Сломалась головка оси? Вот, оказывается, зачем нужна была Натэле эта связка!» — думал Сулхан, вертя в руках протянутую ему председателем ось.

— Мельница простаивает. Пока из района новую ось привезем, помоги, сделай что-нибудь... А то, когда в деревне мельница не работает, сам знаешь, каково...

— Ага, пригодился-таки вам старый Сулхан!.. — многозначительно проговорил старик и немного погодя добавил глухим, насмешливым голосом:

— Что ж, этот ваш мастер сам не может ось починить?

— Наш мастер в Тбилиси... Ждем его со дня на день, но мельница, понимаешь...

Сулхану вспомнился тихий вечер, когда он отправился на мельницу и так и не дошел до нее. Темная дорога, шелест листвы, яркий свет, хлынувший из дверей мельницы, тихие взволнованные голоса... Вновь прозвучал в ушах зов: «Натэла! Натэла!» Какое-то злое, нехорошее чувство кольхнулось в сердце. Дрожащим от волнения голосом медленно проговорил:

— Не знаю, не знаю, небось «Золотой десницей» его прозвали, а вот видишь оно как... Скажи ты мне, что это за мельницу выстроили вы с сыном Джаба?

— Сперва помоги нам, Сулхан,

окажи любезность, — дело больно срочное. А потом я тебе покажу эту мельницу, знаю, ты ее не видел. Усажу тебя в мой «Москвич», в один миг доедем.

— Э, «Москвич»... — усмехнулся Сулхан. Нагнулся за связкой, потянул — тяжела она была для него. Но не захотел показать свою слабость — поднатужился, поднял.

В маленькой кузнице стоял спертый воздух, пахло плесенью, сыростью и металлом. Сулхан приступил к делу. Давненько не раздувал он мехи, давненько не подходил к горну!.. Мехи знакомо зашипели, набирая воздух, огонь потихоньку разгорался, по ковальные загремел тронутый ржавью молот. Старику было трудно делать привычное дело, он тяжело дышал, покряхтывал, стряхивал время от времени пот со лба.

Вскоре ось была готова, обрадованный Шалва чуть не расцеловал Сулхана.

— Ну, поехали, поехали, увидишь, как заработает теперь мельница! С твоей помощью, понимаешь?!

Сулхан колебался. Всем сердцем хотелось ему увидеть свою Натэлу, так ни за что обиженную утром. Хотелось увидеть ее именно в тот момент, когда Шалва привезет эту ось. Очень хотелось... «Посмотрю, что за машина «Москвич», каково в ней ездить. Поеду!» — решил он.

Но если там его встретит этот дьяволенок?.. Хотя Шалва ведь сказал, что он в Тбилиси.

— Ну что ж, поехали! — недовольно пробурчал Сулхан.

Машина легко мчалась по узким зеленым улицам. Сулхан задумчиво смотрел на мелькающие дома, деревья, плетни.

— Значит, без воды крутятся мельничные жернова? — спросил он Шалву. Лицо Сулхана выражало удовольствие.

— Это совсем просто, — с готовностью отозвался Шалва.

— Да, знаю... Но меня не это удивляет. Машина машиной, а че-

ловек?.. — он совсем не хотел этого говорить — вырвалось.

Машина неслась мимо свежекошенных полей. Стога ~~звонили~~ ^{звонили} золотистыми холмами.

Июльское солнце посылало на землю знойные лучи. В воздухе стоял аромат нагретой травы и цветов, сена и земли. Неумолчно звенели невидимые кузнечики.

Вдруг Шалва снова обернулся к старику и с лукавой улыбкой воскликнул:

— Я знаю, дорогой Сулхан, что тебя удивляет!

Сулхан настороженно взглянул на него и засопел, отвел глаза, стал глядеть в окно.

— Тебя удивляет, — продолжал Шалва, — что электромельницу оборудовал сын Джаба, сын нашего соседа, недавний сорванец и озорник.

Сулхана словно обухом по голове ударили. Он сидел, не подымая глаз; Шалва произнес вслух то, что Сулхан тайл в сердце, в чем никому не хотел признаться...

— Так-то, дедушка, так-то... Знаю все, понимаю. Это, мол, наш парнишка, куда ему, руки не дотянутся... А ну, если б сказали, что инженер из города построит мельницу, тогда ведь и ты, и все другие с доверием, с уважением отнеслись бы к этому. А почему? Разве не твои руки славились прежде? А кто ты был — не наш, деревенский парень? Так это или нет, а? Что скажешь, дед Сулхан?

Сулхан тоже невольно стал улыбаться.

Машина подкатила к электромельнице. У дверей стояла Натэла. Сулхан сразу заметил внучку. Загорелое, тонкое лицо ее выражало ожидание. Там же, около Натэлы, увидел дед и младшего внука — Сулико.

Натэла подбежала к машине.

— Привезли ось? — с нетерпением спросила она Шалву.

— Да, вот! — ответил он и протянул ей ось.

— Молодец у меня дедушка! —

Натэла вырвала у него из рук ось и бегом помчалась к мельнице.

— Обожди!.. — с улыбкой крикнул в догонку ей Шалва. — Посмотри, кого я привез.

Натэла остановилась, повернулась. Шофер в это время распахнул заднюю дверцу. Живые черные глаза Натэлы, чуть покрасневшие от постоянного пребывания на солнце, расширились от удивления и радости, когда из машины неуклюже вылез дедушка Сулхан.

— Дедушка Сулхан!

Столько радости было в этом возгласе, что сердце старого Сулхана дрогнуло от нежности и волнения.

* * *

Мельница была ярко освещена электрическим светом. Выбеленные известью стены, тщательно подметенный, без единой соринки пол — все так и сверкало чистотой. Сулхан даже прикрыл глаза рукой — его ослепила эта белизна. Когда-то он так же прикрывал глаза, входя в свою мельницу — слишком резкой была разница между дневным светом и темнотой помещения.

Сулхан подошел к жернову, погладил рукой, заглянул в желоб, в закрома. Мельница безмолствовала. Рабочие остановились подле Сулхана, с улыбкой наблюдали за старым мельником, который впервые вошел в это помещение. На их глазах постарел Сулхан, согнулись его некогда могучие плечи. И на глазах Сулхана росли и мужали эти парни.

Вскоре с помощью катков передвинули мельничный жернов и вставили починенную ось.

— А ну, включайте ток! — распорядился Шалва.

Натэла сдвинула какой-то рычажок, жернов закрутился, потоком заструилась по желобу тонко смолотая, белая как снег, мука.

— Ура, дедушка Сулхан! Молодец! — громко закричал маленький Сулико. Взрослые, глядя на него, не смогли сдержать улыбки. Малыш смутился, бросился к двери, но замешкался. Дед Сулхан, провожая взглядом убегающего внука, вдруг помрачнел. На пороге стоял сын Джаба. Он тяжело дышал — видимо, бежал. Хорош был сейчас сын Джаба! Встрепанные золотистые волосы спадали на широкий лоб. Губы под светлыми усами — полуоткрыты. Голубые глаза сверкали.

Сулхан не мог отвести от него взор. Глядел, как зачарованный. Что так преобразило невзрачного парня?

Потом Сулхан посмотрел на внучку. Она подошла, встала рядом с парнем. И в глазах Натэлы старик увидел такую нежность и любовь, такое забвение всего на свете, кроме этого вот, голубоглазого «выцветшего» парня, что все слова стали излишними.

«Будьте счастливы, родные мои! Радуйтесь, живите и процветайте!» — подумал Сулхан и, широко улыбаясь, направился к двери.

* * *

Свободным легким шагом спускался старик по той дороге, на которую глядел враждебно и недоверчиво несколько дней назад, сидя под сенью старого ясеня.

Натэла и Сулико побежали было вслед за дедом, но председатель остановил их: пусть старый Сулхан побудет наедине со своими мыслями.

Он шел и шел.

Будто вновь возвращалась невозвратная пора жизни...

А там позади, откуда он шел, раздавался знакомый шум мельницы.

Сулхан шагал бодро, гордо. И в груди его мощно вращался вечный жернов жизни.



Григол Абашидзе

СТРОКИ О ЖИЗНИ

Обнять весь мир. Забыть, что он громаден.
Как в малой капле, отразиться в нем.
Работа — мост из шатких перекладин,
А молодость — всегда игра с огнем.

По шаткому — беги! Чтобы окрепло
Твое дыханье в муках и в пыли.
Сгори до тла, стань бедной горстью пепла,
Но берегись — крыла не опали!

И — в путь! Смотри, как кругозор громаден.
Ты словно птица потерялся в нем.
Ты на мосту из шатких перекладин.
Ты существуешь, чтоб играть с огнем.

Перевод с грузинского П. Антокольского



Григол Чиковани

С и н т у

Из цикла „Одишские рассказы“

Перевод с грузинского Д. Мгеладзе

1

Синту видела сквозь щелку в двери, как Чонти снял на балконе с гвоздя саблю и копье, вышел во двор и быстро зашагал по тропинке. Девушка смотрела, будто хотела остановить его, но он не оглянулся. И вот Синту стоит, опершись голым плечом о косяк двери, и задумчиво глядит вслед Чонти...

«Зря ты сердиться на меня, дорогой! Не виновата я. Не могла же я запретить господину смотреть на меня! Он господин, а я его раба... Какая сила сковала меня? Почему отпустила я Чонти, не побежала за ним? Но я знаю его: стоит ему переступить порог, как он перестанет сердиться... Да, я знаю его сердце — стоит ему переступить порог, и он тут же забудет обо всем!..»

Смотрит Синту на дорогу, по которой ушел Чонти. Далеко-далеко убегает тропы и пропадает в знойном мареве. Шурит Синту свои большие глаза, и снова видится ей Чонти. На нем короткая, ладно пригнанная чоха и мягкие сапоги.

Через плечо перекинута сложенная вдвое бурка, в руке на весу — копье. Все дальше и дальше уходит он своим упругим, размеренным шагом.

Обширный двор перед господским дворцом пуст, дрожит отяжелевший от зноя воздух. И хотя Чонти давно уже скрылся, из глубины амбара, из винного погреба, из пекарни и конюшни, из виноградника и огорода смотрят на тропу десятки глаз: выдержит ли Синту? И когда девушка показала в темном проеме открытой двери, все взоры тотчас же обратились к ней.

«Я должна была догнать его! Я же ни в чем перед ним не виновата: разве закажешь господину глядеть на меня, на то он и господин! Я должна нагнать Чонти! Сбор воинов назначен возле шатра Арзакана...»

Девушка перешагнула высокий порог, подол платья поднялся к колену и вновь скользнул вниз. Синту идет по двору. Люди следят за ней. Вот она поравнялась со дворцом, который высится посреди пустынного двора, гордо вздымая

вверх крытую сверкающей черепицей кровлю. Синту бросила быстрый взгляд туда, где в густой тени ореховых деревьев находилось окно Сесирквы Липартиани, ее господина. Тяжелая занавесь закрыла окно, Сесирква еще ранним утром отправилась к месту сбора воинов. И Чонти ушел туда, он всегда сопровождает господина в походах.

Если бы не десятки следящих за нею глаз... Ну и пусть смотрят, пусть думают о ней что угодно! И Синту уже бежит, она изо всех сил спешит к шатру Арзакана. Юноши, увидев ее, восхищенно переглянулись, мужчины подкрутили усы, старики заулыбались, а женщины с завистью вздохнули.

2

К полудню зной усилился, небо дышало жаром, как раскаленная сковорода. Синту выбежала на пологий берег Техуры и с разбегу остановилась. Речка была полна лошадей, они понуро стояли в воде. На другом берегу, в ложине, вокруг шатра Арзакана лежали вповалку обессилевшие от зноя воины.

«И Чонти там, — перед ее глазами возникло сердитое лицо Чонти. — Я всего только улыбнулась господину! А что мне было делать? Я же раба его, а он господин мой!»

Синту, не раздумывая, кинулась в воду. Обычно холодная Техура была насквозь, до самого дна, прогрета солнцем. Выйдя на другой берег, Синту побежала туда, где высился шатер Арзакана. Ее босые ноги оставляли влажные следы на раскаленной, пересохшей от зноя земле. Воины, видимо, заметили девушку, один из них приподнялся и стал глядеть в ее сторону, прикрывая рукою глаза от солнца. Синту тотчас же узнала Чонти и остановилась...

А вослед Синту, не видевшей сейчас ничего, кроме вставшего ей навстречу Чонти, мчался от реки табун взбесившихся от жары лошадей. И тотчас же, словно по чьему-

то неведомому знаку, стремительно выбрались на берег и помчались за ними стоявшие в Техуре кони. Какое-то безумие гнало их вперед, и они плотным табуном неслись прямо на Синту. Взметенная тысячами копыт, поднялась и повисла в воздухе тяжелой завесой туча пыли. Казалось, спастись от надвигающейся беды невозможно. Синту на миг оглянулась и побежала. С угрожающей быстротой настигал ее топот копыт — звук преследующей ее смерти. Все ближе и ближе... вдруг чья-то сильная рука подхватила девушку с земли и подняла на коня.

— Синту, — услышала она. — Сумасшедшая!..

— Думаешь, я струсил! — Она рассмеялась так, словно ничего не случилось, словно не он только что спас ее от смерти. Она посмотрела на него, и глаза ее засветились.

— Синту!

— Ты больше не сердись на меня, правда? — Синту обхватила руками его шею. — Если бы кони затаптали меня, на кого бы ты тогда сердился? Не было бы с тобой Синту...

— Замолчи!

Бешено мчавшийся табун настиг их, захлестнул, увлек за собой. Чонти сильно натянул одной рукой повод, стараясь удержать своего коня в повиновении, а другой обнимал стан Синту.

— Ну скажи, на кого бы ты тогда сердился, Чонти? — повторила девушка. — Ну, перестань же хмуриться, слышишь! Не то... — Она огляделась: вокруг лавина обезумевших коней... — ...не то я уйду от тебя — не удержишь!

Синту ухватилась за гриву бежавшей рядом вороной кобылы и птицей перелетела ей на спину.

— Синту! — крикнул Чонти.

— Синту ничего не боится! — Девушка повернулась к нему, глаза ее сверкнули. — Ничего и никого, кроме тебя...

Синту знала, как трудно вывести

Чонти из равновесия. Бывало, не раз она одним прыжком взлетала на дикого, необъезженного коня и, прильнув к его гриве, отдавалась буйному бегу. А потом хватилась руками за ветвь дерева и повиснет на ней, раскачиваясь и с улыбкой глядя, как летит дальше конь уже без седока. Или же спрыгнет на скаку с коня, перекувырнется раза два по земле и усядется, довольная...

Чонти обычно спокойно наблюдал за всем этим. Он был из тех людей, мужественных и суровых, которые прячут свои чувства от чужих глаз, говорят мало и сдержанно, а больше молчат, горячи и вспыльчивы, но умеют сдерживать себя. И девушка, так и не добившись, чтобы на лице Чонти появился страх за нее, растерянность или волнение, нередко убегала куда-нибудь, где ее не могла видеть ни одна живая душа, и в слезах отводила душу.

То же странное чувство отчаянного озорства владело девушкой и сейчас. Она крепко вцепилась в гриву кобылы; длинные косы Синту развевались по ветру, босые ноги сжимали конские бока. Пригнувшись к шее вороной, Синту, казалось, не замечала мчавшихся рядом коней, этой вздыбленной лоснящейся лавины, не слышала их храпа и фырканья. Она хотела лишь одного — уйти от Чонти. Но сделать это теперь не так просто. Неожиданно часть табуна свернула в одну сторону, вторая — в другую. Только кони Синту и Чонти мчались вперед.

— Не догонишь! — крикнула Синту, торжествуя.

Эх, если бы ей удалось смутить спокойствие Чонти!

Она летела не оглядываясь, подгоняла свою кабардинку-трехлетку, высокую, тонконогую, горячую и злую.

«Сбросит, непременно сбросит!» — говорил себе Чонти. Поняв, что не сможет догнать Синту, он повернул коня наперерез ей.

Пыль, поднятая табуном, скрывала долину, встала до самого неба, в десяти шагах ничего не было видно. Чонти потерял Синту из виду и скакал наугад. Внезапно в перестуке копыт послышался новый звук, чем-то неумовимо отличный от других. Чонти тотчас же догадался: это иноходец его господина!..

И когда кобыла вынесла Синту из-за завесы пыли, две руки одновременно с двух сторон схватили гриву вороной. Ринулась вперед кабардинка, взвилась на дыбы, но напрасно: сильные руки держали ее. Тогда она злобно заржала, остановилась. Разгоряченная скачкой, Синту удивленно оглядывала своих спасителей. Сесирква Липартиани и Чонти, словно литые, сидели в седлах по обе стороны от нее. Они тяжело дышали, повернув к девушке взволнованные, покрасневшие лица. Смущение связывало их незримыми узами и даже придавало им неумовимое сходство. Для Синту они были схожи сейчас, несмотря на то, что на одном были богатые доспехи и драгоценное оружие, а другого облегал заношенная чоха, через плечо висела простая сабля, на поясе — кинжал без насечки и украшений.

Синту настороженно смотрела на них. Ни один не отпуская гриву. По обычаю, Чонти должен спешиться, как подобает крепостному, и поклониться. Но на этот раз он видел перед собой не господина, а просто молодого парня, которому приглянулась его Синту.

Сесирква и Чонти были молочными братьями. С колыбели росли они вместе, проводили друг с другом целые дни, месяцы, годы. До поры до времени они словно не знали, что один из них был господином, а другой — его слугой. Но время шло, и друзьям пришлось, наконец, почувствовать разницу в положении. Отныне на людях они соблюдали все, что закон и обычай предписал в отношениях между господином и слугой. Но стоило им остаться вдво-

ем, как они опять становились просто друзьями.

Чонти, не знавший страха или нерешительности, был сейчас смущен и растерян. А что, если Сесирква прикажет ему отпустить гриву вороной и уйти? Выполнить волю господина?

Синту поняла, что происходит, и тотчас же пришло к ней решение. Она чуть сжала колени и крикнула что-то на ухо вороной. Та рванулась и понеслась стрелой, едва не выбросив из седла Сесирква и Чонти.

Оба молча глядели вслед девушке, пока она не скрылась в туче пыли, все еще висевшей в воздухе. Наконец Сесирква прервал неловкое молчание.

— Как только взойдет луна, мы выступим в поход, — сказал он Чонти и направил коня туда, где поджидала его свита.

Сесирква возвращался от мегрельского владетельного князя Дадиани, когда увидел бешено скачущего вороного коня и узнал в девушке Синту. Может быть, она не может справиться с лошадыю? Не раздумывая, бросил Сесирква на помощь. Свита ждала, что произойдет!.. Когда Сесирква повернул коня, люди вздохнули с облегчением, — беда прошла мимо Чонти.

3

Турки вторглись в Грузию. В порты Поти, Кулеви и Анаклию проникло несколько десятков турецких кораблей с войсками. К Дадиани прибыли посланцы с требованием сдать без боя.

Покорив Гурию и Одиши, захватчики намеревались овладеть Имеретией, а затем Картли и Кахети. Осуществив свой план, турки стали бы владыками всей Грузии и тем самым помешали бы России выступить на защиту своих южных соседей-единоверцев.

В ответ на турецкий ультиматум Дадиани снарядил во вражеский

стан своих послов, поручив им отвлечь врага длительными переговорами. А в это время народ Одиши готовился в поход на врага.

К месту войскового сбора со всех сторон шли воины—пешие и на конях, арбы с оружием и продовольствием, кони для воинов, выючный скот.

Турки задумали атаковать Дадиани с двух сторон.

Один отряд, выйдя из Анаклии, должен был перейти Ингури, захватить Зугдиди и оттуда направиться в горную Мегрелию, взять Цаленджиха, Чхороцку, Хибула и в Сенаки соединиться с идущими из Поти войсками Саххил-Аллы и Махмуд-Гассана. И отсюда объединенными силами обрушиться на Имеретию. Об этих планах турок рассказали лазутчики Дадиани.

В ответ одишцы выработали свой план. Сесирква Липартиани поручено было заманить отряд Махмуд-Гассана в болотистый Коратский лес, обойти его со стороны моря и неожиданно напасть с тыла. Зажатого в кольцо врага надо было сломить и уничтожить до того, как на помощь ему подоспеют главные силы, возглавляемые Саххил-Аллою.

После разгрома Махмуд-Гассана Липартиани пройдет в сторону Чаладиди и соединится там с войском Гуриели, чтобы вместе перехватить на полпутидвигающихся из Поти османов и повести отвлекающий бой, пока не подойдет вспомогательный отряд Телемака Чиквани.

Согласно этому плану, наиболее тяжелый бой ожидался под Кулеви, с Махмуд-Гассаном. Но одишский владетель надеялся на Сесирква Липартиани, который, несмотря на свою молодость, имел уже немалый боевой опыт. Сесирква проявил себя как находчивый и умный военачальник, умеющий внезапным ударом ошеломить и уничтожить врага. Хотя у Липартиани было вдвое меньше сил, чем у Махмуд-Гассана, Дадиани не сомневался в успехе Сесирква и потому сам направился к Анаклии.

Было за полночь, полная луна кроваво-красным пятном светилась на небе. Неширокая просека пролегла в густом лесу. Листья ольхи и бука, пожухлые от зноя, тускло блестели под лунным светом. Лес замер. Тишину нарушил дробный перестук множества копыт, резкий скрип аробных колес. Войско Сесирква Липартиани двигалось к Корати...

Впереди с небольшим отрядом ехал сам Липартиани. За ним длинной лентой растянулись по узкой лесной дороге пешие и конные воины, а в самом конце медленно следовал обоз: гнали стада коров и другого домашнего скота, везли птицу, надсадно поскрипывали арбы, тяжело груженные мукой, вином, посудой, коврами, сложенными палатками. Словом, в обозе имелось все для того, чтобы воины на привале могли отдохнуть и восстановить силы для предстоящих боев, развлечься и повеселиться. Одишцы славятся своим хлебосольством и гостеприимством, они и в походе старались соблюсти стародавние обычаи. Бойцы прихватили с собой самые красивые одежды, облачились в лучшие доспехи, вооружились дорогим оружием. В Грузии издавна было принято обряжаться перед боем во все лучшее — на зависть и устрашение врагам, на радость друзьям-соотечественникам.

Чонти, отстав от свиты Липартиани и ведя под уздцы своего коня, шел за последней арбой. Прижимаясь плечом к его плечу, шла Синту. Порой отставший всадник или пастух рысью проносился мимо них, и тогда Синту отстранялась от юноши, отступала на один шаг, а потом снова прикидала к его плечу.

Они молчали. В лесной тиши гулко разносилось то приглушенное мычание коровы, то блеяние овцы, то шумное, испуганное трепыхание птичьих крыл.

— Мы зашли далеко, — нарушил

молчание Чонти, — тебе пора возвращаться, Синту.

— Ты за меня не бойся, никто меня не похитит, — с тоской отзывалась Синту. — Обними меня.

— Я могу не вернуться, Синту... Девушка остановилась, обняла плечи Чонти, прижалась к нему.

— Ты должен вернуться, Чонти, я буду ждать тебя... Я знаю, не возьмет тебя турецкая сабля!

— Я вернусь, обязательно вернусь, Синту! Прогоним турок с нашей земли, и я снова буду с тобой.

Синту стояла, покорно опустив голову. Две слезинки сбежали по ее щекам.

— Я вернусь, Синту... — тихо повторил Чонти, затем решительно тряхнул головой, взялся за луку и одним прыжком вскочил в седло. Конь рванул с места, и раскидистая крона старой ольхи тотчас же скрыла всадника. Синту продолжала стоять на месте, прислушиваясь к удаляющемуся стуку копыт.

Лес снова погрузился в молчание. В воздухе запахло перегоревшей листвой. Потом над верхушками деревьев пронесся вихрь. Заскрипели качнувшиеся стволы. Девушка подняла голову: над лесом нескончаемой чередой плыли темные, переполненные влагой тучи.

5

Всю ночь двигалось под проливным дождем войско Сесирква Липартиани. Огненные жгуты молний то и дело полосовали небесный свод, опустившийся, казалось, до самой земли. Затвердевшая от многодневного зноя почва не принимала влагу: заполнились водой трещины, заструились потоки в канавах, вода покрыла дороги, нивы, дворы.

Липартиани распорядился остановить до времени обоз. Боевые отряды, несмотря на распутицу, продолжали стремительно продвигаться вперед: надо было перейти Хобисцкали и Кулеви до того, как полноводные реки выйдут из берегов.

— Если на море высокая волна — удача нам обеспечена, — проговорил Сесирква, обращаясь к ехавшим рядом братьям Тудзбая.

— Так и будет, — сказал старший Тудзбая.

— Корабли повыбрасывает на берег, — подтвердил младший.

Молния беглым светом осветила их лица, огрубевшие от солнца и соленых морских ветров. Большие глаза глядели из-под густых, мокрых от дождя бровей открыто и смело.

Липартиани с довольной улыбкой оглядел их ладные фигуры: на низкорослых колхидских лошадаках братья казались в прорезаемой молниями тьме сказочными богатырями. Они вдоль и поперек избороздили и наше море, и турецкое, изучили чужеземные берега и навывались туда запросто, как к себе домой. Однажды они выкрали из султанского дворца самого важного из визирей и доставили его в замок Дадияни. Стоило турецкому султану только помыслить о походе в Колхиду, как братья Тудзбая доносили о его планах своему повелителю...

Именно благодаря им смог владетельный князь заблаговременно принять меры предосторожности — разослать небольшие отряды по всему побережью, приказав им укрыться в прибрежных чащах и укромных лощинах, и стал собирать войско.

Правители Гурни и Имеретии, введенные в заблуждение ошибочными донесениями своих лазутчиков, не поддержали Дадияни. Они говорили: султан, мол, увяз в неурядицах и распрях на Балканах и в арабских странах, и ему теперь не до похода в Грузию. И если бы не братья Тудзбая, кто знает, как обернулось бы дело.

Передовые конные разъезды Липартиани подъехали к берегу Хобисцкали. Казалось, что в кромешной тьме, окутавшей все вокруг, нечего было и думать о переправе. Но Чонти и братья Тудзбая сдела-

ли невозможное: отыскали во тьме брод через реку. Послушные кони, испытанные в походах и битвах, переправились на тот берег по глубокой воде. Отряд продолжал свой стремительный рейд. Дождь не прекращался, молнии с треском распарывали низко нависшее полотнище неба. Наступило утро, но лучи света не смогли пробиться сквозь плотные толщи туч. Тьма не желала сдаваться, ночь не уступала дню.

Старший Тудзбая повернулся к Липартиани.

— Слышишь, как гудит море?

Липартиани прислушался. Действительно, сквозь равномерный шум дождя и грохот грома уже можно было различить отдаленный, глухой гул морского прибоя. Он начинался вкрадчивым шорохом, затем нарастал, крепчая, будто море в мощном усилении пыталось покинуть свое извечное ложе.

6

Море бушевало, оно выходило на берег громадными, как горы, валами. Насквозь промокшие, измученные турецкие воины стояли по щиколотку в воде. Чернели в полутьме выброшенные на берег корабли с оружием и продовольствием. Турки отошли от линии прибоя ровно настолько, чтобы волны не смыли их в море. Лишний шаг вперед таил в себе грозную опасность. Их поглотили бы болотные топи.

Наконец забрезжил рассвет. Земля вокруг была сплошь покрыта мутной кипящей водой, взбаламучиваемой потоками дождя.

Промокший с головы до ног, усталый и злой, сидел Махмуд-Гассан в своем шатре. Полотнища и ковры не могли защитить его от воды. А перед глазами была все та же леденящая душу картина: войско, стоящее по колено в клокочущей воде. Одни воины понуро опирались на копыя, другие, уже не в силах стоять на ногах, уселись прямо в воду. Были и такие, что навзничь ле-

жали в воде с широко раскинутыми руками.

Махмуд-Гассан велел созвать в свой шатер сотников и отдал им приказ: поднять всех на ноги и заставить двигаться, чтобы не закончили, и еще передать людям, что аллах скоро прекратит этот дождь и отдаст победу в руки правоверных.

Однако не успел Махмуд-Гассан договорить последних слов, как в палатку, запыхавшись, вбежал дозорный и, низко склонившись перед своим повелителем, доложил: конные отряды одишцев во главе с Сесирква Липартиани с трех сторон приближаются к турецкому лагерю, их появления надо ждать с минуты на минуту.

Не может быть! Как могли всадники переплыть вышедшие из берегов Кулеви и Хобисцкали! Турецкий предводитель поднялся и стремительно вышел из шатра. В окружении десятка османских воинов, навстречу ему ехали три всадника — посланцы Сесирква Липартиани. Посередине — Уча Пагава, воин и дипломат, умный и многоопытный дворянин, которого за его маленький рост назвали «Коротышкой», по обе стороны от него — братья Тудзбая.

Остановив своих коней возле шатра, грузины медленно, с достоинством спешили. Коротышка Уча склонил голову перед Махмуд-Гассаном, поздоровался, как того требовал обычай, и передал устно, что повелел Сесирква Липартиани: вы, мол, окружены со всех сторон, обречены на истребление.

Уча свободно говорил по-турецки, голос его звучал сдержанно и вежливо, но Махмуд-Гассан почувствовал насмешку, скрытую в его словах. С трудом владея собой, турецкий военачальник проговорил:

— Только хвастун и глупец мог предложить мне сдаться без боя.

7

Недаром на родине Махмуд-Гассана звали «морским львом». Во

многих морских сражениях и набегах на чужие берега прославил он свое имя. Правда, еще никогда не приходилось ему высаживаться на колхидской земле, но он был слышан о неукротимой отваге одишцев и их необычайной боевой тактике. В одних странах полководцы прибегают к хитрому построению своих войск, чтобы сбить противника с толку, и до последнего момента берегут резервы; в других излюбленным маневром является скрытый обход с флангов и внезапный удар по неприятельскому расположению. И только одишцы не прибегали в бою к хитростям и маневрам. Едва завидев врага, они стремительным галопом шли на сближение с ним, крича и потрясая длинными копьями. Затем копыа летели в неприятеля, и одишцы, обнажив сабли и кинжалы, бросались на врага так яростно, что их напор трудно было сдержать. Они всегда действовали прямо, решительно, открыто.

Турки готовились к сражению. Возле палатки Махмуд-Гассана выстроились сигнальщики, они подняли к небу свои длинные, в человеческий рост, трубы, и прозвучал резкий, будоражащий боевой сигнал. Нервной глухой дрожью, забили промокшие турецкие барабаны. Но гул морского прибоя приглушал все звуки, и они словно уходили в вязкий прибрежный песок...

Никто не знал, каковы были силы одишцев, с какой стороны подступят они. А ведь измученным турецким воинам предстояло сдерживать натиск одишской конницы, стремительной и неудержимой, как горный поток. Перед турками были две возможности: либо сдаться противнику, либо сражаться с отчаянием обреченных, пока останется в живых хоть один человек. Махмуд-Гассан знал это, как знал и то, что теперь самое главное не допустить, чтобы его люди поняли создавшееся положение. Махмуд выхватил из ножен саблю и направился туда, откуда, по его предположению, дол-

жен был появиться Сесирква Липартиани. Коренастый и широкоплечий, Махмуд, наклонившись вперед и пригнув голову, шагал по воде, навстречу еще не видимому врагу. Ветер бросал ему в лицо пригоршни дождя, хлестал по глазам, не давал дышать. Но он шел, как бы олицетворяя собой мужество отчаяния. Турки, следуя за своим предводителем, развернулись в боевой порядок. Разом стихли барабаны, смолкли визгливые трубы.

И вот из-за дождевой стены показались ряды одишских всадников; они приближались, охватывая турок с трех сторон. Возгласы начальников одишского и турецкого войск, пронзительные крики воинов, ржание коней, звон оружия — все слилось в оглушительный шум, который перекрыл даже грохот морских волн, обрушивающихся на берег. Резкие порывы ветра подхватывали звуки битвы и, стократ усилив, бросали в лицо османам. Вихрь хлестал потоками дождя, застилал бойцам глаза, мешал разглядеть противника. От этого все происходящее казалось еще непонятнее и страшнее.

Чонти, как и в других сражениях, скакал рядом с Сесирква Липартиани, чтобы уберечь его от малейшей опасности. Он не отводил от него глаз, словно сердце подсказывало, что смерть подстерегает Сесирква.

Ряды одишских всадников с разгона врезались в турецкое войско, начался рукопашный бой. В сумятице Чонти сразу же потерял Сесирква. Липартиани пробивался сквозь строй турок. Наконец он увидел Махмуд-Гассана. Тот стоял, крепко упираясь в землю короткими, сильными ногами, кривые ятаганы, зажатые в его руках, молниями мелькали в воздухе.

Радость загорелась в груди Липартиани. Он давно прослышал о ратных подвигах Махмуд-Гассана и мечтал о встрече с ним. И вот она, эта встреча! Сесирква хотел было спешиться, чтобы на равных правах биться с Махмудом, но не успел

соскочить с коня: его вороной иноходец споткнулся и упал на передние ноги. Сесирква попытался встать, но двое янычар вонзили в него копыя. Махмуд-Гассан вспрыгнул сзади на коня Сесирква. Громкий крик заставил его обернуться: это был Чонти. Он на всем скаку перегнулся с коня, подхватил Махмуд-Гассана и перекинул через седло. Обезумевший конь понесся к морю...

Воины-одишцы окружили раненого Сесирква Липартиани. Он успел увидеть, как Махмуд-Гассан, изловчившись, снизу ударил Чонти коротким кинжалом. В тот же миг огромный белопенный вал накрыл с головой обоих...

Жажда отомстить за раны Сесирква придала одишцам новые силы. С яростью бросились они на врага. Туркам некуда было податься: с одной стороны темной стеной стоял лес, где спасшихся от уничтожения османов ждала болотная топь, с другой — бушующее море.

Коротышка Уча и братья Тудзбая бились в первых рядах, и казалось, что у каждого из них выросло по сто рук. Немногие оставшиеся в живых турки разбежались кто куда.

Липартиани уложили на носилки, придворный лекарь итальянец осторожно перевязал ему раны. Коротышка Уча велел протрубить сигнал, чтобы собрать бойцов. Поручив небольшому отряду изловить разбежавшихся врагов, Уча без промедления двинулся навстречу Саххил-Алле, высадившемуся в Потти.

8

Весть о ранении Сесирква Липартиани разнеслась по всей Одиши. Люди спешили к его дворцу. Тут были мужчины и женщины, старики и дети; они шли с приношениями, вознося к небу мольбы о выздоровлении своего повелителя. Широкое поле перед дворцовой оградой заполнилось людьми.

Долго не приходил в сознание Сесирква. Он лежал перед откры-

тым окном, и все же ему не хватало воздуха, он задыхался, метался в бреду, невнятно выкрикивая слова. Приближенные разобрали лишь несколько раз повторенное имя Синту и Чонти.

Лекарь велел привести Синту и приказал ей неотлучно находиться у постели Сесирква. Если господин еще раз назовет ее имя, пусть она тотчас же откликнется, заговорит с ним, спросит, что угодно ему. Лекарь рассчитывал, что голос Синту выведет больного из забытья.

А Сесирква пылал в жару, и никакими средствами не удавалось унять лихорадку. Синту стирала пот с его лба, оведала разгоряченное лицо, смачивала розовой водой пересохшие губы. И все время думала о Чонти. Она знала, что немало воинов из отряда Сесирква погибло в бою, но никто ничего не мог сказать ей о судьбе Чонти.

«Чонти не вернется, пока не убьет последнего врага», — подсказывало ей сердце. Девушка со страхом смотрела на Сесирква: недвижимый и обескровленный, он казался ей сильным и негибаемым. «И Чонти такой, меч турка не убьет его», — упрямо повторяла она.

С тревогой вглядывалась Синту в лицо Сесирква: может быть, хоть в бреду скажет он что-нибудь о Чонти. И часто думала: хотя бы к возвращению Чонти выздоровел господин. А уж она не пожалеет для этого сил.

— Чон-ти! — дрогнули однажды губы Сесирква.

Синту упала перед ним на колени.

— Он не вернулся, господин! — Она взяла больного за руку. — Я Синту, это я, Синту! — В голосе девушки звучали робкая мольба, ожидание, надежда.

Отворилась дверь, и вошли лекари — итальянец, француз и перс. Безмолвно встали они у ложа больного.

Сесирква медленно поднял отяжелевшие, безжизненно-бледные ве-

ки, но глаза его ничего не видели и не выражали. «Говори!» — знаком приказал Синту итальянец.

— Господин, ты слышишь меня? — Девушка крепко прижала к своей груди его руку.

Сесирква чуть повернул лицо в ее сторону.

— Я — Синту, господин! Турки разбиты, Дадияни победил.

Липартиани все так же смотрел в лицо девушки ничего не выражающим взглядом.

— И Чонти скоро вернется, господин...

Во взгляде больного мелькнула искорка сознания, он словно пытался вспомнить что-то. Наконец потрескавшимися от жара губами он повторил вслед за девушкой:

— Чон-ти...

— Да, да, Чонти! — Синту еле сдержала крик радости: наконец-то Сесирква заговорил.

Липартиани, не отрывая глаз от лица Синту, мучительно напрягся.

— Чонти... Его убил... Махмуд-Гассан, — произнес он тихо, но внятно.

Синту выпустила, почти отбросила от себя руку господина и вскопчила на ноги.

«Нет, нет!» — шептала она, отступая к двери. На пороге она обернулась, с ненавистью взглянула на Сесирква и вышла из комнаты.

Синту миновала двор, отворила калитку и побежала по тропинке. Люди удивленно провожали ее взглядом. Никто не решился остановить девушку, спросить, что за горе поразило ее.

Добежав до старой ольхи, Синту остановилась. Здесь простились они, здесь встретит она Чонти. Он вернется, вернется!..

9

С утренней зари и до вечерней си-дела Синту, глядя на дорогу. Не откликалась на обращенные к ней слова, не слушала утешений. Она была наедине со своим горем. Смотрела на дорогу и ждала. В сумер-

ках уходила в лес. Забывалась недолгим сном в заброшенной пастушеской хижине. А на рассвете, едва только можно разглядеть путника на дороге, — она уж опять сидит под старой ольхой.

Давно вернулись домой оставшиеся в живых. Раны стали рубцами. Медленно возвращался к жизни Сесирква. Как только к нему вернулось сознание, он сразу спросил о Синту. Огорчился, забеспокоился, приказал дворецкому привести ее во дворец, показать лучшим лекарям, приставить к ней прислужниц для ухода.

Но Синту отказалась выполнить волю господина; она не могла простить ему слов о гибели Чонти. Неужто не знал он, что Чонти не мог погибнуть от турецкой сабли!

Уже и осень отступала перед зимой, а надежда ни на миг не оставляла Синту. Стоило показаться издали на дороге путнику, как девушка тотчас же вставала с земли и, затаив дыхание, ждала его приближения. Но путники проходили мимо. «Опять не Чонти! Почему же ты медлишь?! Ведь я жду тебя!»

Теперь Синту стала расспрашивать каждого прохожего, не видел ли он ее Чонти, не слышал ли случайно о нем. Если же путник шел в ту сторону, куда ушел Чонти, она говорила:

— Если встретишь Чонти, обязательно скажи ему, что я жду его, что истомилась в ожидании...

Говорят, время лечит горе. Но Синту, видимо, ничто не могло излечить. Дни шли за днями, а боль в ее душе не притуплялась. Липартиани пытался спасти девушку, его посланцы уговаривали ее вернуться, но она лишь молча качала головой. Решил было Сесирква силой вернуть ее во дворец, но лекари отсоветовали.

Уже второй месяц, как Сесирква Липартиани встал с постели, но он все не решался пойти туда, где под старой ольхой Синту ждала своего Чонти. По повелению Сесирква

хлебопек Иванэ Тудзбая должен был заботиться о Синту.

Братья Тудзбая погубили в Чаладидской битве вместе с уча Пагава. Потому и поручил Сесирква старому Иванэ заботу о Синту: пекарь любил девушку, как родную дочь, и забота о ней смягчала его горе.

По утрам, когда Синту сидела под старой ольхой и хибарка ее пустовала, Иванэ приносил еду, прибирал в комнате и разжигал очаг. Возвращаясь, подходил к девушке, усаживался возле нее на узловатое корневище ольхи, доставал свою прокуренную трубку и, набивая ее, ласково говорил:

— Вот и мои мальчики задержались. Люди говорят, в лесах еще остались турки, не всех еще выловили...

И хотя на грузинской земле давно уже не оставалось ни одного турецкого янычара, Синту верила тому, что говорил Иванэ.

Однажды старик пришел, как обычно, к Синту. Еще издали заметил он, что дверь хибарки приотворена. Это показалось старому хлебопеку дурным знаком. Он слез с коня и, перекинув хурджин через плечо, шагнул к хижине. В открытую дверь он увидел Синту. Девушка лежала, скорчившись, словно от холода.

Иванэ вбежал в комнату и склонился над ней.

— Это ты, дедушка Иванэ? — слабо улыбнулась Синту. — Знаешь, сегодня вернется Чонти! — Она попыталась приподняться, но не смогла.

— Не вставай, Синту, не надо...

— Сегодня вернется Чонти, — повторила Синту, умоляюще глядя на старика. — Помоги мне, дедушка, ведь я должна его встретить, а у меня колет в боку. Но это ничего — ты только помоги мне встать, а уж я пойду сама! — Губы Синту были тронуты синевой, руки бесильно лежали вдоль тела. — Знаешь, дедушка Иванэ, он приходил

сюда каждую ночь. Едва темнело и нельзя было преследовать турок, он шел ко мне. Вчера всю ночь он был здесь. А уходя сказал: завтра приду насовсем... Помогите же мне, дедушка, я должна встретить его там...

Она уперлась рукой в бревенчатую стену хижины, приподнялась, обхватила шею Иванэ.

— Скорее, скорее... Он вот-вот придет!

— Поешь немного, дочка, а потом мы вместе пойдем.

Синту не слушала его.

— Почему так темно стало, дедушка?

Солнце стояло над лесом. Но Синту не видела его. Словно во сне, шла она к старой ольхе.

— Отчего у меня так колет в боку, дедушка?... Может, Чонти уже пришел и ждет меня? Пойдем скорее, дедушка...

Они подошли к ольхе.

— Нет, он не пришел еще, — произнесла она горестно. — Помогите мне сесть...

Иванэ помог ей сесть, она привычно прислонилась спиной к стволу. Ее знобило, губы ее дрожали.

— Он скоро придет, мой Чонти...

— Да, да, он скоро придет, — подтвердил Иванэ, скинул с плеч бурку и укутал в нее Синту.

— Теперь мне хорошо.

Синту откинула голову, закрыла глаза. Лицо ее было спокойно, на щеках чуть приметно проступили два розовых пятна.

— Чонти! — вдруг встрепенулась Синту. — Я слышу — это стук копыт его коня! Слышишь, дедушка, как он скачет?... А господин сказал, что его убили турки!..

— Да, дочка, это Чонти, — сказал Иванэ. — Это топот его коня.

Иванэ видел, что последние силы покидают Синту. Он медленно пятился к тому месту, где ждал его конь. Что делать? Скорее ехать во дворец, за лекарем? Или ей не помочь уже? Синту отдаст богу душу раньше, чем он приведет врача.

Он нерешительно стоял перед конем.

Наконец вскочил в седло и скакал во дворец. Но было уже поздно. Синту не нужна уже помощь лекаря.

10

После сражения под Кулеви Сесирква Липартиани не брал в руки оружия: старые раны не позволяли ему даже сесть на коня. Но когда враг подступал к границам Одиши, сам Дадзиани посещал его, советовался с ним. В дни празднеств сажал он Сесирква рядом с собой. И это было не только знаком уважения — Дадзиани любил его как брата.

Сесирква женился, обзавелся детьми. По его повелению Синту похоронили не в дворцовой ограде и не на кладбище, а под старой ольхой, лицом к дороге, откуда должен был прийти Чонти...

Прошло двадцать лет. Однажды утром Сесирква Липартиани, сидя на балконе своего дворца, наблюдал, как его старший сын Александрэ упражнялся во владении саблей. Сесирква готовил сына к походу: царь Картли и Кахети Теймураз собрался выступить против Шах-Аббаса.

Молодой царь избрал удачное время: между Ираном и Турцией шла война. На помощь войскам Картли и Кахети должны были прийти Имеретия и Мегрелия, чтобы объединенными силами изгнать кизилбашей из Грузии.

Липартиани смотрел с балкона на Александрэ и вспоминал свою молодость. Юноша ловко владел оружием и сейчас теснил своего противника, испытанного воина карачаевца. Тот отступал, уклоняясь от быстрой сабли Александрэ. Мужчины, обступив их полукругом, с интересом следили за поединком. Тут были абхазцы, имеретины, кахетинцы, лезгинцы, чеченцы — лучшие воины, собранные из разных краев, чтобы обучить Александрэ сабельному

бою и метанию копья, стрельбе из лука и владению кинжалом. Теперь они внимательно следили за каждым движением своего ученика.

Высок и широкоплеч был молодой господин, чоха плотно облегала его стройный стан. Нежное, не успевшее огрубеть под солнцем лицо, яркие голубые глаза и русый вихор, упрямо спадавший на лоб, придавали его облику мужественную доброту и привлекательность.

В его годы таким был и Сесирква Липартиани; Александрэ продолжал его жизнь, его дело. Отец защищал Одиши от турецкого нашествия, а сын собирался теперь к царю Теймуразу, чтобы принять участие в походе за освобождение Грузии от персов...

Липартиани заметил вдруг, что к людям, наблюдавшим за поединком, быстро подошел незнакомец, одетый в богатую турецкую одежду, с кривым ятаганом за поясом. «Кто это! — удивился Сесирква. — На купца он не похож...»

Как раз в это мгновение карачаевец неожиданным выпадом выбил саблю из рук Александрэ. Разгоряченный юноша ринулся, чтобы поднять свое оружие, но незнакомец опередил его.

— На этот прием отвечают вот так, сынок, — проговорил он негромко и взмахнул саблей: — Держись, карачаевец!

С лязгом скрестились сабли, раз другой, и вот уже сабля карачаевца упала на землю. Незнакомец поднял ее и протянул противнику. Потом обернулся к Александрэ, но увидел перед собой взволнованного Сесирква.

— Чонти!

Чонти опустил голову и преклонил колено перед своим господином.

11

Недолго был рассказ Чонти. Турки втащили его, раненого, на свой

корабль, привезли в Стамбул и продали в неволю. Опытный глаз работорговца на стамбульском базаре разглядел в изнуренном рабе прекрасного воина. Чонти не знал в его доме недостатка ни в чем: ни в лекарствах, ни в уходе, ни в пище. Вскоре он пришел в себя, окреп, и тогда торговец, вместе с другими ценными подарками, преподнес его в дар султану. Затем Чонти попал к знаменитому турецкому военачальнику, и начались наезды, походы, битвы. Пришла к Чонти слава, а слава принесла с собой и богатство. Но ни богатство, ни почет не могли заглушить тоски по родине. День и ночь мечтал Чонти о возвращении домой, но миновало целых двадцать лет, прежде чем пришел случай осуществить давно задуманное. Воспользовавшись ирано-турецкой войной, он убежал в Армению, оттуда перешел в Кахети, в Картли, заехал к царю Теймуразу, передал ему важные сведения о турецком войске, и вот он здесь, в Одиши...

Чонти рассказывал невеселую повесть своей жизни так, словно пережил все это не он, а кто-то другой. Его думы были заняты одним — он хотел узнать о судьбе Синту.

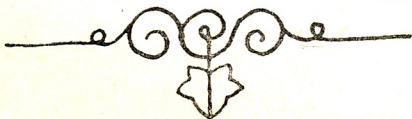
Сесирква проводил его на могилу. Долго стояли они под старой ольхой. Лес безмолвствовал. Только где-то в зарослях кричали дрозды, да на дороге поскрипывала арба...

По этой дороге прошел сегодня утром Чонти. Мог ли он подумать, что тут похоронена Синту?

«Я вернулся, не смогла погубить меня турецкая сабля, Синту!»

* * *

Через неделю Чонти вместе с Александрэ Липартиани уехал в Кахети.



Теймураз Джангулашвили

У ПАМЯТНИКА МИРЗЫ АХУНДОВА

Солнце опустилось к Нарикала,
село за скалистую гряду,
человек поднялся над веками,
встал у небосвода на виду.

Мы с Байрамом у его подножья —
в розах утопает монумент...
Волны двух родных морей полощут
наш гористый гордый континент.

Здравствуй, мой собрат азербайджанец,
здравствуй, мой соратник по перу,
мы с тобой плечом к плечу сражались
за Баку, за Волгу, за Куру.

В двух сердцах, как будто в двух сосудах,
мы с тобой сегодня принесли,
принесли тебе, Мирза Ахундов,
благодарность матери-земли.

Плющ ползет по стенам Нарикала,
в небе загорается звезда...
Памятнику виден с пьедестала
отчий край — Нуха или Гянджа.

Словно воды вешнего потока
на зеленом низком берегу —
песни братства, дружбы и восторга
буйствуют на улицах Баку.

А века идут степенно мимо
и тропинка, что по-над Курой,
растворилась в магистралях мира,
стала светоносной тропой.

Перевод с грузинского С. Куняева





РОМАН

Перевод с грузинского Л. Громеко и М. Квливидзе

Во вторник Исайя Чубинидзе не вышел на работу. С самого утра он отправился в дом Лашхи, снял межку с покойницы, устроил перед амбаром верстак и принялся мастерить то, название чего он никогда не произносил вслух.

Хатуна умела шить. Переговорив с Эленэ, она заняла маленькую кладовую, где хранилось постельное белье, перенесла туда швейную машину и не выходила до полудня. Шитья было немного: два сатиновых черных платья и мужская рубаха. Элефтера не позвали даже для примерки. Он заперся в комнате и никого не хотел видеть. Рубаху отнесла ему Эленэ. Элефтер лежал навзничь на покрытой ковром тахте и, казалось, спал с открытыми глазами. На скрип двери он повернул голову и посмотрел на жену. Не проронив ни слова, Эленэ повесила рубаху на спинку стула и, помедлив немного, вышла. Ей хотелось что-то сказать Элефтеру, утешить его, но она не решилась.

Из комнаты, где лежала покойница, до Элефтера доносился беспорядочный шум шагов.

Он знал, что теперь там в последний раз одевали мать, перед тем как положить ее в гроб.

Хатуна поролла наметку на платье Эленэ, когда та показалась в дверях.

— Как бы мне немую позвать сюда? — спросила вдова.

Мунджия была в комнате покойницы. Эленэ очень не хотелось входить туда. К счастью на балкон вышла Эдуки и, сохраняя на лице скорбное выражение, принялась вытряхивать огромный ковер, когда-то доставшийся в приданое покойнице Эбе.

Продолжение. Начало см. в журнале «Литературная Грузия» № 10.

— Мунджия там? — тихо спросила Эленэ. — Может зайдешь туда, скажешь ей, чтобы вышла, платье нужно примерить...

Эбе похоронили в четверг, в полдень. Так как Элефтер не поместил в газете извещения о постигшем его горе, то телеграмм с соболезнованиями почти не было. Кое-кто пришел из окрестных деревень и из Циплискараро. Однако у открытой могилы несколько телеграмм все-таки зачитали. Их прислали из Зестафони Чинчаладзе — родственники Петре Миротадзе.

Чинчаладзе вместе с Петре и Эдуки оплакивали незабвенную тетушку Эбе. Никто не знал, кто сообщил Чинчаладзе о смерти старухи, почему вдруг оказался Петре дядей Амберки Лашхи, а Эбе — его теткой, и с какого боку Элефтер стал двоюродным братом Миротадзе, но только, когда читали телеграмму, учитель Калистрат отпустил какое-то язвительное замечание и с кладбища ушел первым.

Люди, пришедшие на похороны, скоро разошлись. Кое-кто пошел к могилам своих родных, другие, тихо переговариваясь, возвращались по дороге, усыпанной камнями.

Хатуна, Зурия, Серго и кузнец Захар шли вместе. Скоро их догнала Маргарита и пошла рядом с Хатуной.

Хатуне не терпелось поговорить с Серго о своей работе. Пора уже было что-то предпринимать. Ведь все это затеял сам Серго, и сейчас, кто, как не он, должен был помочь ей.

«При людях не стоит, выберу другое время!» — после недолгих колебаний решила она.

Женщины пошли быстрее и вскоре оставили мужчин далеко позади. Зурия предпочел остаться с мужчинами, хотя и не спускал глаз с идущей впереди матери.

Маргарита на чем свет стоит ругала Петре.

Подхалимство Миротадзе претило и Хатуне, но она хорошо знала, какой длинный язык у счетовода, и поэтому предпочла молчать.

Распалившись, Маргарита стала по косточкам разбирать всех родственников Петре. Сказалось, что и отец Элефтера — Амберки повесился ни по какой другой причине, а по вине отца Петре — Бикенти. Лютой ненавистью ненавидели они друг друга. Амберки Лашхи всегда был тружеником, хотя и с достатком, а вот Бикенти Миротадзе — известный бездельник и попрошайка...

— Теперь в двоюродные братья лезет! — закончила Маргарита. — Еще бы, выгодно иметь такую родню!

— Кому? — невольно спросила Хатуна.

— Кому?! Да Миротадзе! Ведь его пасынок в этом году кончает институт. Элефтер влиятельный человек, все его знают. Именно он и помог парню поступить.

— Женщины! — послышалось позади.

Маргарита замолчала.

Выраженная в черное шелковое платье, чуть не вприпрыжку догнала их Эдуки.

— Как вы быстро ушли, сестрица Хатуна!

Вспотевшая Эдуки приближалась короткими, но быстрыми шагами.

— Про своих разве скажешь плохое, но все-таки они поступили нехорошо, — не успев подойти, доверительно заговорила Эдуки, теребя мочки ушей, украшенные золотыми серьгами. — Ни одного человека не

пригласили ни из Кахетии, ни из Мегрелии, ни из Тбилиси... Разве так можно?

Женщины, словно заранее договорившись, молчали.

Эдуки заметила, что хватила через край, и попыталась исправить ошибку:

— Это я так говорю, к слову пришлось. А правду сказать, кто больше меня любит их, души в них не чаем, ни я, ни мой Петюша... Теперь вы прямиком туда и идите, стол уже накрыт, наверно. Петюшу нигде не видели?

— Ладно, придем, придем! — успокоила Маргарита принимавшую столь ревностное участие в похоронах женщину, но когда та отошла на достаточное расстояние, прошептала Хатуне: — И к кому она приглашает, интересно знать, к себе что ли?! Вот уж хозяйничает, прямо спасу нет!

— Эх, — пожала плечами Хатуна. Теперь эти две болтливые женщины были ей одинаково неприятны.

— Интересно, а ее балбесу не всыпали как следует?

— Кому?

— Ее отпрыску, этому лоботрясу Ушанги?

— За что?

— Как, за что? За то, что он Зурию побил!

— Что-о?

— Разве ты не знаешь?

Хатуна в первый раз слышала об этом.

— Ты не знаешь, что Ушанги избил Зурию?

— Нет.

— Подстерег возле дома Эгнатэ и отдубасил. Зурия не жаловался?

— Что ты говоришь, Маргарита?.. Зури!

— Подожди, зачем ты его зовешь! Наверное, он не хотел, чтобы ты знала, иначе сказал бы.

— А ты как узнала?

— Гванца, дочь Эгнатэ, рассказывала.

— Что ему нужно было от него, чтоб у него руки отсохли!

— Он сначала Гванцу караулил. Она с Зурией вместе шла из школы.

— Потом?

— Так вот, мол, зачем заступился за девочку.

— Сынок! — отлегло от сердца у Хатуны.

— Такой уж он, будь проклят! Извел Калистрата, прямо со света сживает старика.

— А о чем думают родители?

— И, милая... Ты думаешь его отец лучше него? Яблоко от яблони недалеко падает!

— А где он теперь?

— Черт его знает. В горы ушел с пастухами... Сегодня с пастбища вернулся. К ночи, кажется, уйдет обратно. Школу бросил. Калистрат и директор раза два ходили к ним домой, а он, как заметит, что они идут, перепрыгнет через плетень и был таков! Будь уверена, в этих делах он проворный!.. А сейчас Эгнатэ с помощниками в горах, ведь знаешь, там крыша овчарни под снегом провалилась, они ее чинят... И Ушанги с ними... Пристал к Эгнатэ: я, мол, буду работать с вами, а ты мне, говорит, трудодни запиши...

— Но он ведь сейчас здесь, я его видела.

— Пожаловал на похороны. Куда Эгнатэ, туда и он.

— Дождется он у меня, этого я ему не спущу!

— Кому, мама? — слышалось сзади.

Хатуна едва сдерживала себя, так она была расстроена. Она повернулась к сыну, схватила его за воротник и стала трясти, хотя хорошо знала, что Зурия не был виноват.

— Хатуна, не наказывай его, — заступилась за мальчика Маргарита. — Заклинаю тебя детьми, не трогай его, он не виноват!

Зурия насупился: сзади шли мужчины и все слышали. Он вырвался от матери и чуть было не сшиб с ног Маргариту.

— Вай, убей меня бог! — закричала Маргарита. — Ну вот, ты этого хотела?!

Рассерженный Зурия бежал не разбирая дороги. Хатуна от огорчения кусала губы. До самого дома она не вымолвила ни слова.

9

Рано утром учитель Калистрат появился во дворе конторы. Хатуна увидела его из окна. «К нам, наверно», — подумала женщина и стала топтать детей:

— Одевайтесь быстрее, учитель Калистрат, кажется, к нам идет.

Она подбежала к зеркалу, собрала распущенные волосы в узел и заколола шпильками. Потом быстро застелила кровать сложенным вдвое пестрым одеялом.

Калистрат не показывался. И вообще никто не появлялся в коридоре. Было раннее утро, и пока еще из комнаты Маргариты не доносилось надоедливое шелканье счетов.

«Ушел что ли?»

Хатуна подошла к окну.

Калистрат стоял у лестницы и нетерпеливо поглядывал на ворота.

«Наверное, Бориса ждет», — подумала Хатуна и, не сумев побороть любопытство, вышла на балкон.

— Доброе утро, дядя Калистрат! Что вы так рано поднялись?

Старик вздрогнул от неожиданности.

— Где Поладзе?

— Сегодня еще не видела его.

— Гм, рано...

— Что-нибудь случилось?

Калистрат повернулся к ней спиной и что-то проворчал себе под нос. Было ясно, что он не хотел говорить ей о цели своего прихода.

«Зря я вылезла», — подумала Хатуна. Приглашать в дом старика она не осмеливалась, уйти — казалось неловко.

— Слышишь, ты! — повернулся вдруг Калистрат. — Завтра и твою усадьбу перепашут! А ты сиди, сложа руки, и поддакивай им!

Хатуна ничего не поняла. Она хотела было спросить старика, что его взволновало, но неожиданно до ее слуха донеслось гудение трактора, и она сразу обо всем догадалась: ведь говорила же недавно Эдуки, что уже начинают пахать земли под большой виноградник...

— Что, хорошо? Нравится? — Глаза Калистрата метали молнии.

У Хатуны отнялся язык. Растерявшись, она не могла вымолвить ни слова.

— Значит, уже начали? — едва выговорила она.

— Не слышишь разве? Не землю, а жизнь задумал перепахать этот молодчик! Он один все знает, другие ничего не понимают! Невежды мы все! Идиоты! Тьфу!

- Интересно, а сам он там? — не к месту вставила Хатуна.
- Черт его знает!.. Но ты, ты-то чего молчишь?
- Что я могу сказать, дядя?
- Неужели тебе не жалко своих трудов?
- Кто меня спрашивает, дядя Калистрат?
- Как это, кто? Государственную дорогу строят что ли?
- Дорогу или тропинку, меня об этом никто не спрашивает!
- Ну-ну! Поговори мне еще. Так тебе и надо!... А если мы все согласно выступим, поглядел бы я тогда, как он станет самоуправничать! Слыхано ли это, чтобы общенародное дело делалось, а председатель не спрашивал бы у людей?

Хатуна не нашлась что возразить. Тогда Калистрат обрушил на нее всю свою ярость. Старик говорил и говорил. Его голос, наверное, был слышен и по ту сторону ворот.

— Такое самоуправство,—выкрикивал он,—подрывает основу коллективного труда, грозит большим ущербом колхозу. Остается одно: убираться отсюда и искать работу где-нибудь в другом месте... — Он бранился, грозил, метал громы и молнии, но к счастью или к несчастью, кроме Хатуны, его никто не мог слышать. В конце концов, отведя душу и так и не дождавшись Бориса, он нахлобучил сильно поношенную шапку на уши и решительно зашагал со двора правления.

Хатуна, конечно, знала обо всем, что делалось в деревне, и знала настолько хорошо, что сама поторопилась приехать сюда, но примирившись с мыслью, что это произойдет не только с ней, решила не вмешиваться в колхозные дела. Семье, в которой нет мужчины, — рассуждала она, — необходимо быть вдвойне осторожной. Недостаточно разве одного горя, чтобы наживать другое? Хорошо еще, что она не сказала этого Калистрату. Он, наверно, расерзал бы ее, выругал бы при всех, не посчитавшись даже с тем, что она женщина.

Пока Хатуна размышляла, Калистрат уже подошел к воротам Эгнатэ Сивсивадзе.

Стоя на террасе, Эгнатэ сучил паклю. Не заходя во двор, Калистрат окликнул его.

Эгнатэ сразу догадался, зачем пришел учитель, но прятаться было уже поздно. «И черт меня дернул вынести паклю на террасу, в комнате не уместился бы что ли?»

— Ты меня слышишь? — крикнул ему Калистрат.

— Слышу, не глухой! — неохотно ответил Эгнатэ, в голосе которого сквозило явное недовольство.

— Чего же ты сидишь дома, нашел тоже время!

— А ты не сиди, бегай, если хочешь! Интересно, что из этого получится!

— Значит, сложить руки и смотреть? Да? На радость врагу?!

— Но, Калистрат, что я один могу сделать?

— Одевайся! Одевайся и выходи сию минуту!

— Куда ты собираешься идти?

— Пойдем со мной, в район ходим.

Эгнатэ опустил голову и начал ковырять землю носком ботинка.

— Ты что, не слышишь? — разъярился Калистрат.

— Слышу, как не слышу, — дрогнувшим голосом ответил Эгнатэ. — Слышу...

— Тогда чего стоишь?

— Я-то чего стою?.. Стою, потому что... Видишь ли, Калистрат, дело-то уже начато...



— Что-о? Что ты сказал?

— Я говорю, что... дело-то уже начато и... расходы уже есть...

— Одним словом, идешь или нет?

— Я-то пойду... Отчего не пойти... Хотя бы из уважения к тебе, Ка-
листрат, только вот как бы люди не истолковали это иначе...

— Послушай, как ты странно разговариваешь.

— Как разговариваю? Обыкновенно. Что еще сказать, не знаю.

— Эх, ты! — вздохнул потерявший терпение Калистрат, махнул
рукой, повернулся и торопливо зашагал вниз по дороге.

— Что случилось, отец? — прибежала спустя немного времени
Гванца. — Что ему нужно было?

— Сапоги почистила?

— Почистила. Сегодня отправляетесь?

— Не знаю. Я, может быть, и останусь.

— Если Ушия придет за тобой, что сказать?

— Скажи, что когда пойду в горы, я ему сообщу.

Гванце очень хотелось узнать причину раннего прихода учителя, но
отцу было явно не до нее и поэтому она не стала приставать.

Одевшись, Эгнатэ собрался было идти в контору, но потом решил,
что там никого не застанет, и направился к Захару.

Кузнеца не оказалось дома. Девочки сказали, что он пошел на
станцию встречать Маквалу.

Узкий, зажатый плетнями переулочек вывел Эгнатэ к кузнице. От-
сюда, как на ладони, виднелась вся равнина, которая наклонно спуска-
лась к прибрежным рощам Лухунии. Неподалеку от двора Миндели, на
участке, когда-то засеянном кукурузой, рокотали тракторы. Пласти пере-
вернутой земли сверкали, покрытые предутренней изморозью.

В середине пашни стоял громадный столетний орех, на ветвях кото-
рого, по преданию, в незапамятные времена висела икона. Из-за иконы
место, где рос орех, называли Сахато¹. Нынче в Сакаури никто не верил
ни в бога, ни в икону, однако люди по-прежнему с благоговением от-
носились к старому ореху. Этому, очевидно, способствовало еще и то, что
дерево было на редкость плодовитым: года не проходило, чтобы из Са-
хато не привозили два-три грузовика орехов. Под деревом земля была
непригодной, здесь не пахали, не сеяли, так как в густой тени ничего не
росло... Теперь на этом месте сновали какие-то люди. Они примерялись
к дереву, по несколько раз обходили вокруг ствола, то и дело погляды-
вая на его кону. Невдалеке, тарахтя, стоял гусеничный трактор.

«Неужели собираются срубить?» — подумал Эгнатэ.

Десять или пятнадцать лет тому назад, во время какого-то сельско-
го праздника, с этого дерева упал и разбился Бикенти Миротадзе.
После этого он стал харкать кровью и вскоре умер. Уже тогда начали
поговаривать о том, чтобы срубить зеленый исполин, но сельчане не раз-
решили. Особенно волновались старики: они почитали дерево, как свя-
тыню. Какие только бури не проносились над орехом, кто знает, сколько
раз в него ударяла молния, а он все стоял и стоял. Так проходили
годы...

Теперь люди опять пришли к ореху. Интересно, что они хотели?
Очевидно, срубить дерево. Если действительно будут разбивать вино-
градник на всем участке Сахато, то орех нельзя оставлять, в его густой
тени ничего не вырастет.

Эгнатэ стало не по себе. Сколько раз он полдничал в тени старого

¹ Х а т и — икона. Са х а т о — святое место.

ореха, спасаясь от палящих лучей солнца, сколько раз укрывался от дождя под его могучей кроной...

Он пошел по тропинке, которая вела вниз, к ореху.

Петре, сняв с себя пояс и выпростав из брюк рубаху, бегал вокруг дерева и, размахивая длинными руками, что-то показывал Борису Ладзе.

Учителя Калистрата нигде не было видно. Может Исаяя тоже не поддержал его? Захар, как нарочно, куда-то запропастился... Может, после разговора с ним, с Эгнатэ, Калистрат успокоился?

Такие мысли вертелись в голове у Эгнатэ, когда он прошел мимо трактора и тихим голосом поздоровался с трактористом, хотя тот, оглушенный шумом мотора, не только не услышал его слов, но и не заметил его самого.

— Вот хотим выкорчевать орех, Эгнатэ. Что ты скажешь?

— С добрым утром! — поздоровался со всеми Эгнатэ.

— С добрым! Здравствуй! — раздался голоса.

— Ну, что скажешь? — повторил вопрос Борис.

Эгнатэ понял, что Борис спрашивает только для вида, в действительности же его совершенно не интересовало чужое мнение, поэтому он лишь пристально посмотрел в глаза председателю и ничего не ответил. К ним подошел Петре. Повернувшись спиной к Эгнатэ, он начал излагать свой план. По его словам, необходимо было вырыть глубокую яму вокруг дерева, обрубить все толстые корни, потом подложить аммонал и взорвать. Тракторы, говорил он, вряд ли справятся с этой задачей.

Петре был мастер взрывать и разрушать. Трудно было найти другого человека, который бы так воодушевлялся всякий раз, когда было нужно что-нибудь разрушить.

— А чем он вам помешал, Борис, этот орех? — спросил Эгнатэ.

— Но ведь это же орех, браток, грецкий орех! Или может ты думаешь, что это персик? — повернулся к нему Миротадзе.

— Как-нибудь без твоей помощи разберусь!

— Тогда чего же разговаривать! Разве ты когда-нибудь видел, чтобы посреди виноградника рос орех, да еще такой огромный?!

— Ладно, делайте, что хотите, зачем же меня спрашиваете, — обиделся Эгнатэ.

— Сделаем, конечно, сделаем! — кивнул головой Петре.

Борис не проронил ни слова. Он знал, что вступить в спор с Эгнатэ значило доставить себе лишние хлопоты, тем более, что он уже догадался куда клонит Сивсивадзе.

— Так я пошел, Караманыч! Принесу лом и заступ! — собрался бегать Миротадзе. — Может, захватить и поперечную пилу? Топор тоже понадобится?

— Только скорее возвращайся. — Борис искоса взглянул на Эгнатэ: — Ты сегодня в горы собираешься идти?

— Попозже пойду, ночью.

— Эй, Петре!

— Здесь я! — обернулся уже отошедший на изрядное расстояние Миротадзе.

— Сходи в Дубовую рощу, у Исаяи должна быть пила, возьмешь ее. Пусть еще одолжит лом и заступ. Слышишь? Топоров возьми столько, сколько есть, придется ветки обрубать!.. Исаяе передай от меня, чтобы он двух-трех крепких парней прислал нам на подмогу, понял?

— Понял, Караманыч! — Петре сорвался с места и побежал.

— А мне что теперь делать? — Вытирая тряпкой вымазанные в масле руки, к Борису подошел тракторист, который во время разговора возился со своим трактором.

— Подождем, пока он придет, — сказал Борис, — трос у тебя надежный?

— Да, совершенно новый.

— Может, сейчас же попробуем?

— Нет, так оборвется.

— Тогда подождем.

— Ладно, подождем.

Ждать пришлось долго. Пенича, по обыкновению, сначала зашел домой. Эдуки собиралась снять рамы с парника и сложить их на террасе. Кроме того, надо было очистить парник от увядших стеблей огурцов. За парником всегда ухаживала сама Эдуки. Она никому его не доверяла. Петре велел Ушанги — пока не позовет Эгнатэ, чтобы взять в горы, — помочь матери управиться в парнике, и теперь хотел посмотреть, как сын выполняет его наказ.

В огороде уже многое было сделано. С парников сняли рамы. Ушанги сидел на корточках между грядками и, задумавшись, выкапывал растения.

Петре не показался на глаза своим, он знал, что Эдуки заведет с ним какой-нибудь длинный разговор, хотя для этого у нее было достаточно времени каждый вечер. Обойдя дом стороной, Петре направился к Дубовой роще. Неожиданно он увидел там учителя Калистрата. Петре растерялся. Калистрат сидел на невысоком пне, рядом стоял рыжебородый гробовщик Исаяя, опираясь на черенок вымазанной в известке мотыги.

— Как дела? — донесся громкий голос Исаяи.

— Все в порядке. Что вы делаете?

— Разговариваем.

— Привет, друзья, — поздоровался с каменщиками Петре, косясь глазом на Калистрата.

— Здравствуй!

— Вы Хатуну бы научили строительному ремеслу что ли!

— Почему и нет, научим, чем она хуже нас? Справится!

Хатуна улыбнулась мужчинам, взяла у Исаяи мотыгу, начала замешивать известковый раствор.

— Исаяя!

— Да?

— Караманыч послал меня.

— Что ему?

— Пусть, говорит, придет двух-трех человек на подмогу. И чтобы инструменты с собой взяли.

Калистрат обернулся.

— Что он там делает? — спросил Исаяя.

— Ореховое дерево, что растет в Сахато, хотим срубить, — торопливо сказал Петре. — Эй, ребята, слезайте оттуда. Поперечная пила есть?

— Подожди, подожди, Петре, не отвлекай их, они делом заняты. Передай Борису от меня и от Калистрата — пусть немного подождет.

Калистрат, молчавший до сих пор, вскипел. Он обрушился на Исаяю: еще нехватало делать из Петре парламентера.

— И-и! Что ему от меня нужно?! — побледнел Петре.

— Ты иди и передай то, что я тебе сказал! Чего стоишь? — спокойно проговорил Исаяя.

Петре медлил, долго топтался на месте, наконец, ушел. Ему больше ничего не оставалось делать. Он поднялся на холм, и во все горло закричал:

— Эгнатэ-э!

Сперва никто не отзывался, наконец, его голос услышали.

— Чего тебе нужно? — крикнул в ответ тракторист.

Петре приложил ладони рупором к губам:

— Караманычу скажи, Караманычу, пусть сейчас же идет сюда в Гориджвари.

— Что ты говоришь, что? — после короткого молчания переспросил тракторист.

— Скажи председателю... дело такое, в Гориджвари пускай придет...

В Сахато так ничего и не поняли, что им кричал Петре.

— Взять бы его сейчас за шиворот да отдубасить как следует, — скрежетал зубами Борис Лоладзе, — чего он орет? Неужели не может взять инструменты и принести их сюда?

— Бори-ис! — теперь уже на другой лад кричал все еще стоявший на холме Миротадзе.

— Иди сюда, иди! — размахивая руками, звали его Борис и тракторист.

Видимо, Миротадзе услышал, потому что он сразу сорвался с места и, сломя голову, побежал вниз, по склону.

— С пустыми руками идет, пропади он пропадом! — процедил Борис сквозь зубы.

Спустившись в ложину, Петре исчез из виду. Вскоре снова показалась его голова.

Борис хотел крикнуть, велеть ему остановиться и отправиться обратно, да еще и выругать последними словами, но постеснялся чужих людей.

Тем временем прибежал Петре.

— Где же инструменты? — накинулся на него Борис.

— Не кричи, Караманыч, не кричи... — не мог отдышаться Петре, — сначала спроси... в Дубовой роще такое творится, что... врагу твоему не пожелаю!

Красное от ярости лицо Бориса стало бледным, как полотно.

— Тебя требуют! — выпалил Петре.

— Меня? Кто меня требует?

— Гробовщик Исаяя сказал: пусть, мол, Борис собственной персоной явится сюда!

— Кто-о?

— Правду говорю. Хочешь верь, хочешь нет... Учитель Калистрат тоже там. Сам стоит в стороне, я, мол, тут ни при чем, а других подстрекает, гробовщика Исаяю заставляет говорить... Никаких инструментов не дают, людей на подмогу тоже не шлют. Пусть, говорят, сам изволит пожаловать. Инструменты, мол, пусть сам возьмет и людей, кого надо... Чуть не убили, еле ноги унес!

Борис растерялся, не знал, верить Петре или нет. Он посмотрел на трактористов, потом перевел взгляд на Эгнатэ.

Эгнатэ втянул голову в плечи и будто весь уменьшился.

— Ну, как тебе это нравится, а? — прохрипел Борис.

Сивсивадзе пожал плечами.

— Надо проверить, Борис...

— Что надо проверить? Значит, я, по-твоему, неправду говорю? — вспыхнул Петре.

— Мы тебя уже не раз слышали! — с непривычной для него резкостью отрезал Эгнатэ.

— И-и, посмотри ты на него!

— Прикуси язык, не до тебя сейчас!

— Прикусить язык? Хотите мне рот заткнуть? Не выйдет! Самы срываете колхозное дело, а я должен молчать?.. Эх, показал бы я тебе где раки зимуют, если бы не твоя кривая рука! Ты... Погоди у меня, я еще рассчитаюсь с тобой, припомню это!

— Замолчите! — вмешался Борис.

— Нет, как же, я его в лоб поцелую, чтоб ему провалиться! — не унимался Петре.

— Сходи, пожалуйста, туда, на строительство, и скажи Исайе, — вернулся к Эгнате Борис, — чтобы они не вынуждали меня самого идти к ним, а то...

— Э-э, председатель, так не годится... — запротестовали стоявшие вокруг люди.

Петре, дрожа от ярости, не стал ожидать конца разговора и, так как Эгнатэ не двигался с места, он нахлобучил картуз на самые уши и пошел вверх по склону, увязая по щиколотку в свежеспаханной земле.

— Подумай хорошенько, Борис. Поспешешь — людей насмешишь, — сказал Эгнатэ.

— Где он? Петре! — пришел в себя Борис.

— Я здесь.

— Иди сюда.

Борис был по-прежнему бледен. С минуту он раздумывал, как поступить, потом, приняв вдруг какое-то решение, круто повернулся и, стараясь шагать твердо и решительно, направился к гориджварской Дубовой роще.

— Между прочим, — сказал он, сделав несколько шагов и обернувшись, чтобы посмотреть, какое впечатление произвел его уход, — пусть кто-нибудь из вас сходит, приведет сюда Элефтера. Чтобы сию же минуту он был здесь!

Эгнатэ передернуло от тона, каким были произнесены эти слова.

— Траур у него... — нерешительно промолвил кто-то.

— А я что, должен один за всех отдуваться!

10

По дороге в Дубовую рощу Борис постарался взять себя в руки, хотя все в нем кипело от злости. Учителя Калистрата уже не было на строительстве, он ушел. Исайя, заметив вдали приближающегося председателя, пошел ему навстречу.

Лицо Бориса не предвещало ничего хорошего, брови были нахмурены, большие, обведенные темными кругами глаза горели недобрым огнем. Исайя сразу догадался, что председатель очень сердит, и поэтому придал своему голосу необычную мягкость.

— Тебя кто-нибудь рассердил, Борис?

— Где он? — Борис грозно сверкнул глазами.

— Кто?

— Этот... Калистрат.

— Успокойся, Борис.

— Где он, спрашиваю?

— Где ему быть? Наверно, пошел в школу.

— Он, может, всю деревню считает своей школой?



— Никто ничего не считает, Борис. Успокойся, пожалуйста. Что ты делаешь, у старика немного нервы же в порядке.

— А что, у других нет нервов?

— Почему же... конечно, есть... — подыскивал слова Исаяя, — но, знаешь, он пожилой человек.

— Поэтому и должен сесть мне на голову?!

— Ну что ты говоришь, Борис!

— Почему ты не прислал людей?

— Людей...

— Да, почему ты не прислал людей? Председатель я или нет? И кому вы грозите, интересно?

— Да что ты, Борис! Кто кому грозит? Чем?

— Исаяя, ты брось такие вещи, слышишь!

— Ну, если ты так заговорил... — в голосе у Исаяя появились ледяные нотки, — раз ты так, то... пеняй на себя!

— Опять угрожаешь?!

— О, господи!

— Ладно, посмотрим!

Каменщики оставили работу и вместе с Хатуной, которая, скрестив руки, стояла у бочки с водой, прислушивались к разговору.

— Я, Борис, сам ведь знаешь, не из трусливых, поэтому зря ты все это затеваешь...

Борис повернул голову, серповидные морщины на его щеках растянулись в недоброй улыбке. Минуты две он и Исаяя меряли друг друга глазами, потом Исаяя сказал:

— Такие разговоры ни к чему не приведут, Борис. Ты лучше вот о чем подумай: ведь за какое большое дело беремся, а ты нас даже не спрашиваешь! Думаешь, все тебе сойдет с рук? Да?

— А все-таки, что вы мне можете сделать? — лицо у Бориса побавровело.

— Ничего... Только не смотри на меня так, прошу тебя! Калистрат уже сейчас хотел идти в район, но я не пустил его. Зачем выносить сор из избы? Договоримся сами, промеж собой... Созови собрание, потолкуем и вместе решим, что и как сделать.

— Не до собраний мне сейчас!

Исаяя пожал плечами и посмотрел на каменщиков, которые внимательно и молча слушали их разговор.

Слова Исаяя заставили Бориса одуматься. Он был глубоко уверен, что Калистрат не сегодня, так завтра выполнит свою угрозу и, кто знает, как представит дело в районе. Да и другие поддержат Калистрата. Даже этот сквернослов Исаяя не скрывает своего недовольства!.. Бориса охватило сомнения. Закладка нового виноградника уже стала для него вопросом принципа, самолюбия, чего бы ему это ни стоило, он должен добиться своего... Но что скажут в районе? Поддержат ли его там, если до них дойдут здешние разногласия? Лоладзе не привык отступать. Но как поступить сейчас?.. Минуты две он стоял, опустив голову, и раздумывал. Исаяя тоже молчал. Борис только слышал его дыхание, тяжелое дыхание старика, всю жизнь курившего трубку. Звук шагов заставил их очнуться. Это пришел тракторист из Сахато.

— Что нам теперь делать? — робко спросил он, поздоровавшись с Исаяей кивком головы. — Работать будем или...

Борису показалось, что тракторист издевается над ним. Он с силой вдавил каблук в рыхлую землю.

— Борис...

Председатель повернулся спиной к обоим и молча направился в ту сторону, откуда пришел десять минут назад.

Исайя и тракторист переглянулись.

Борис шел, опустив голову, глубоко засунув руки в карманы брюк.

В это время подоспел и второй тракторист. Только взглянув на председателя, он понял, что здесь случилось что-то неладное, и поздравил к себе товарища, чтобы узнать подробности.

«Схожу к Элефтеру, — думал Борис, — если ничего не предприму, все это может плохо кончиться». Вдруг он вспомнил, что трактористы остались стоять там с Исайей. Его взорвало: круто повернувшись, он громко позвал их.

Трактористы подошли к нему.

— Чего вы здесь стоите, — сквозь зубы процедил Борис. — Уже полдень, так и будем стоять?!

— Как скажешь, так и сделаем, — ответил один из трактористов, тот, у которого была кривая шея, отчего он все время держал голову набок.

— Валяйте дальше, время не терпит, уже скоро обед вам принесут!

Тракторист еще больше наклонил голову:

— Как думаешь, председатель, для чего нас сюда прислали? Не драться же!

— При чем тут драка?! — деланно удивился Борис и опять почувствовал, что тракторист издевается над ним.

Присланным из МТС трактористам стало ясно, что Лоладзе решил не отступать. Так оно и было на самом деле, однако теперь уже Борис подумывал и о том, что отсрочка дня на три-четыре была бы ему на руку, хотя бы для того, чтобы решить окончательно, что делать дальше.

Ничего не ответив, трактористы направились к своим машинам.

Борис остался один. Сначала он надеялся, что до него донесется гул работающих тракторов. Он и хотел и не хотел этого. Но прошло более получаса, а со стороны Сахато не слышно было ни звука.

Борис поднялся на холм.

Трактористы сидели под орехом и курили.

«Может так оно и лучше?!» — мелькнуло у Бориса в голове.

...Минут сорок спустя, одетая с ног до головы в черное, Мунджия открыла калитку и пригласила Лоладзе в дом.

С распухшими от слез глазами, немая, оставив у калитки гостя, который не захотел войти в дом, поплелась звать Элефтера.

Лашхи, заметно изменившийся за эти несколько дней, тотчас вышел, но был так мрачен, что Борис пожалел о своем приходе.

— Заходи, заходи! — после обычного обмена приветствиями, пригласил Элефтер гостя, хотя приход Бориса был ему неприятен.

— Плохи дела, Элефтер, — сказал Борис, глядя себе под ноги, — Калистрат восстановил народ против... тракторы стоят...

Элефтер кашлянул и с безучастным видом уставился на сухие колья плетня.

— Чего молчишь? — нарушил паузу Борис.

— Я все знаю.

— Что все?

— Что было. Петре рассказал.

— А где он сам? — только теперь вспомнил о Миротадзе Борис.

— Сидит в комнате.

Прислонившись к плетню, Элефтер молча разламывал зажатую в пальцах хворостинку. На террасе Мунджия мыла закопченную медную

кастрюлю. Она отскабливала мокрые корки пригоревшего ко дну риса и бросала их собаке.

— Подам заявление, — сказал вдруг Борис, — кроме волнений, ничего хорошего нет в этом председательстве. Извелся я совсем, давление поднялось... Попрошу, чтобы освободили меня, пусть кого хотят, того и выбирают. Одно только меня бесит: погубит этот ненормальный Калистрат начатое мною дело! Кто он такой, в конце концов?! Когда он грелся у камина, я сражался с немцами и проливал кровь... А теперь он вылез и хозяйничает тут! В прошлом году он тоже стал мне поперек дороги, я уже тогда хотел потребовать, чтобы его сняли с работы, но Месхи не согласился... Чем он обворожил этого Месхи, не пойму! Ни за что не согласился! Если, говорит, он хочет уйти, пусть сам попросит...

Борис заметил, что Элефтер не слушает его и по-прежнему безучастно глядит на колья плетня. Мунджия отнесла кастрюлю в дом и вынесла оттуда груды грязных тарелок.

— Я с самого начала не одобрял этой затеи, Борис, — проговорил Элефтер.

— Что ты сказал?

— То, что Калистрат прав.

Калистрат прав?! Слова Элефтера были как удар обухом по голове. Всего ожидал Борис, но только не этого. Калистрат прав! И кто это говорит? Элефтер!.. У Бориса слова застряли в горле, он наклонил голову, стараясь, взять себя в руки. Сейчас ни в коем случае нельзя было портить отношений с Элефтером, это значило рубить сук, на котором сидишь.

— Ну, если и ты так думаешь, Элефтер, тогда... тогда...

— Я ничего не знаю, — безучастно вставил Элефтер.

— Что ты не знаешь! — у Бориса от злости чуть слезы не выступили. — Не знаешь, что надо заложить новый виноградник?

— А потом не будем волосы на голове рвать?

— Какие волосы, о чем ты толкуешь... — Борису хотелось сказать какую-нибудь грубость, но он не осмелился.

— Одним словом, — спокойно продолжал Элефтер, хотя он был взволнован не меньше председателя, — теперь другого выхода нет: надо созвать собрание. Я много думал над этим, послушаешься — тебе же будет лучше. А там, как знаешь... Я всего-навсего агроном. Нет у меня права решать дела. Права в твоих руках. Я — агроном, дашь землю, дам урожай — и кончено! Больше я ничего не знаю.

Услыхав громкий разговор во дворе, из двери выглянул Петре.

С минуту он постоял, прислушиваясь, потом опять скрылся. В комнате Эленэ вытирала только что вымытую Мунджией посуду.

— Они все еще там?

Скорчив кислую мину, Петре утвердительно кивнул головой.

— О чем они, интересно, секретничают, ты не слышал?

Петре не знал. Он хотел было еще раз выглянуть во двор, чтобы послушать, но вместо этого, махнув рукой, опустился на тахту так осторожно, будто садился не на ковер, а на крапиву или колючки.

Возвращаясь со стройки домой, Хатуна обычно шла мимо ворот Захара, но сегодня она предпочла идти в обход: кто знает, вдруг Маквала окажется дома и пригласит ее в гости, а ведь она, Хатуна, одета совсем не так, как полагается в таких случаях. День сегодня выдался

особенно суматошный, и она не смогла выбрать ни минуты, чтобы сбежать домой и присмотреть за детьми.

Уже смеркалось, когда Хатуна, усталая, проголодавшаяся, ступила к винограднику. В течение последних лет их виноградник, оставленный без присмотра, обрабатывал колхоз. В этом году Борис разрешил Миндели пользоваться этим участком до тех пор, пока им не выделят новую усадьбу.

Раньше, при жизни Шалико, виноградник был обнесен живой изгородью. Теперь кусты кое-где были смяты, и забредший скот вытоптал немало лоз. Виноградник не выделялся обилием сортов. Старые лозы смешались с молодыми и, не получая нужного ухода, постепенно вырождались. В колхозе так и расценивали виноградник — как целину. Если бы не мысль о возвращении Миндели, его, наверное, вырубил бы и перепахали: не стоило занимать землю под такие низкосортные породы. Сейчас виноградник представлял собой довольно плачевное зрелище: почерневшие от дождя и ветра и растрескавшиеся от солнца кольца еще кое-где подпирали лозы; заросли диких побегов, похожие на тыквенные плети, стелились по земле.

«Умелые да трудолюбивые руки все приведут в порядок!» — подумала Хатуна, поднимая с земли и выпрямляя несколько упавших лоз. До сих пор она терпеливо ждала, пока ей отведут новый участок. Их бывший виноградник находился рядом с колхозными угодьями, и даже если бы она очень хотела вернуть его себе, все равно из этого ничего бы не вышло. По словам Калистрата, новый большой виноградник, который должны были разбить к концу апреля, захватил бы все окрестные земли.

Сегодняшние события в Сахато зажгли в Хатуне луч надежды. Давно пора было приняться за виноградник: снег повсюду стоял, наступили теплые дни.

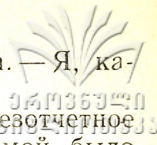
« Попрошу соседей помочь мне, подрежу лозы, сменю подпорки... — мечтала Хатуна, — надо обязательно перекопать виноградник, земля вон как затвердела. Я и Зурия будем работать понемногу... Если сами не справимся, найму кого-нибудь... »

Она вспомнила о деньгах Порфиле Чинчаладзе. После этого злополучного дня они, завернутые в тряпку, лежали в сундуке, где хранились продукты. Хатуна спрятала деньги, даже не сосчитав их. Хорошо еще, что не сожгла.

« Не пойму, что тогда случилось со мной? Наваждение какое-то... Сегодня же, как приду домой, пересчитаю и посмотрю, сколько там денег! » — подумала Хатуна.

В ту же минуту ей представилось нахмуренное лицо Зурии. Только теперь она призналась себе, что у нее от сына есть секрет. Вначале это тревожило ее, но время взяло свое, она постепенно свыклась с этой мыслью и теперь была спокойна... Неужели так уж плох Порфиле Чинчаладзе, как ей кажется? Собственно, в чем он провинился перед ней, Хатуной? Разве любовь мужчины или хотя бы даже простое увлечение могут быть унизительны для женщины? Но нет, Хатуне всегда казалось, что чувства Порфиле не похожи ни на то и ни на другое. Скорее всего, — думала она, — это что-то низменное и оскорбительное. Поэтому она и возненавидела Порфиле с самого начала, видеть его не могла...

Что люди о ней знают? Разве могут они прочесть в ее душе — хочет она или не хочет создать новую семью? Хатуна одинокая женщина, и они так к ней и относятся — пока, конечно, она молода и может пробудить какие-либо чувства... Один просит стать его женой, другой ищет легких развлечений...



«Как далеко я зашла! — почти вслух произнесла Хатуна. — Я, кажется, стараюсь оправдать Порфиле?!»

Хатуна уже давно тосковала по мужской ласке. Это безотчетное чувство, в котором она вряд ли призналась бы даже себе самой, было у нее и тогда, когда молодой и полный сил Шалико находился рядом с ней. Уже вполне зрелая женщина, она все еще оставалась по-девичьи стыдливой и застенчивой, ей иногда казалось, что муж в чем-то оставался для нее чужим, и так же, как в первый год женитьбы, она продолжала стесняться его.

«Господи, каким я была ребенком! — думала Хатуна, чувствуя, как кровь стучит в ее жилах, — я только тогда и поняла, что такое любовь, когда осталась одна... Слишком поздно. Слишком!»

Она опустила ладони на землю между кустами виноградных лоз и закрыла лицо ладонями. Она старалась думать о чем-нибудь другом, чтобы успокоиться и не прийти домой такой взволнованной, но не могла.

Увидев ее в таком состоянии, можно было подумать, что она оплакивает погибшего мужа, но она плакала о себе, о том крошечном остатке молодости, который еще сохранился в ней и который в скором времени должен был ускользнуть от нее.

Раньше ей всегда казалось, что случись с Шалико несчастье, она лишит себя жизни, теперь же она крепко держалась за эту самую жизнь, ей даже не хватало ее, она хотела бы разнообразить, продлить и сделать как можно лучше.

«Какое это счастье, что люди не могут читать чужих мыслей, — с облегчением подумала Хатуна и подняла голову, — но до каких пор я буду обманывать окружающих? Видимо, так устроена жизнь: с годами человек постепенно утрачивает чистоту и меняется — сначала он обманет собственную совесть, вернее, усыпит ее, потом будет обманывать и других!..»

Страх, который постоянно преследовал ее, снова овладел ею. «Нет, так нельзя жить, — подумала она, — или надо навсегда выбросить из головы эти глупые мысли, или, что легче всего, взять и броситься со скалы...»

А дети? Хатуна сразу вспомнила, для чего она жила, вспомнила, что если бы не дети, она не пережила бы гибели Шалико. Дети помогли перенести жестокий удар судьбы, дети же породили новые заботы и печали. Эти заботы и печали заглушили прежнюю боль...

Хатуна вскочила. Сумерки уже спустились на землю, покрыв ее темной пеленой. Небо, похожее на вогнутое зеркало, стало фиолетовым и на нем едва заметно мерцали звезды. Невдалеке, за виноградником, темнел знакомый силуэт покосившегося домика. Хатуна бегом пересекла виноградник и, перешагнув через лаз, очутилась во дворе.

На размокшей от стаявшего снега земле зеленела молодая трава. Она пробилась даже сквозь утоптанной земляной пол открытой террасы. Хатуне это показалось дурным знаком. Она попыталась найти мотыгу и уничтожить невесть откуда взявшуюся поросль, но нигде не нашла даже скребка. Немного успокоившись, она решила прийти на другой день рано утром и привести все в порядок.

Неожиданно со стороны шоссе до нее донеслось нестройное пение. Трое пьяных мужчин шагали от кузницы. Похоже, что они были нездешние. Хатуна постояла у ограды, переждала, пока они прошли мимо.

Не успели мужчины отойти на несколько шагов, как какая-то фигура, видимо, кравшаяся за ними, направилась к Хатуне.

— Мама, это ты? — послышалось в темноте.

— Ух! — облегченно вздохнула Хатуна и обняла подошедшего к ней сына. — Что ты здесь делаешь?

— Почему запоздала? — вместо ответа спросил Зурия.

— Зашла на виноградник посмотреть, как тут. Ты давно пришел?

— Сегодня не работали.

— Маквала приехала?

— Да.

— Кто эти пьяные?

— Не знаю, кажется трактористы из МТС.

— Как мальчики?

— Тебя ждут.

— Ты испугался?

— Нет.

— Тогда зачем прибежал?

— Так просто.

— А почему ты в плохом настроении, сынок?

Зурия не ответил. Спотыкаясь о камни, он шел за матерью по темному переулку к зданию конторы.

Они подошли к воротам, откуда уже было хорошо видно их освещенное электрическим светом окно.

— Заснулы, наверное, — нарушила молчание Хатуна и голосом, в котором слышалось нетерпение, добавила: — Идем скорее!

Зурия почему-то медлил.

— Что с тобою, мальчик? — повернулась к нему Хатуна и вдруг испугалась: на миг ей показалось, что ее старший сын догадался о ее недавних мыслях.

«Грешница я. Как мне после этого смотреть ему в глаза!» — подумала Хатуна, заливаясь краской стыда.

Зурия долго мямлил, пока, наконец, не сказал то, что камнем лежало у него на сердце: оказывается, мальчику очень хотелось перебраться обратно в их дом. Ведь зима уже кончилась, — говорил он, — до каких пор они должны жить в этой конторе?

Хатуна и сама все время думала о переезде, но нужно было подождать, пока решится вопрос о винограднике. Но почему Зурия заговорил об этом? Разве он сам не знал, что их задерживало? Хатуну не столько удивила, сколько встревожила настойчивость, с какой сын говорил об их переезде.

Зурия не успокоился, пока мать, скрепя сердце, не дала свое согласие.

«Но все-таки, что могло так взволновать сына? — думала Хатуна. Почему мальчик так настойчиво требовал, чтобы они скорее вернулись в свой дом? Неужели кто-нибудь высказал при нем оскорбительный намек? Однако расспрашивать Хатуна посчитала для себя унижительным и, немного подумав, вдруг разозлилась на Зурию: «Бессовестный мальчишка, как он смеет следить за каждым моим шагом?! Весь в деда пошел — такой же скрытный и подозрительный!» Она вспомнила тот день, когда Борис в первый раз зашел к ним вместе с Петре, Элефтером и Эгнатэ... Она стояла во дворе, и ветер теребил подол ее платья. Хатуна припомнила пристальный взгляд Бориса и побледневшее лицо сына...

Весь вечер Хатуна была непривычно равнодушна и невнимательна к детям. Ей ничего так не хотелось, как остаться одной, и каждый детский возглас иглой вонзался ей в сердце. Было уже поздно, когда она легла спать, но мысль о том, что Зурия что-то мог знать или о чем-то догадывался, еще долго не давала ей заснуть.

Среди ночи Хатуна проснулась от сильного грохота. Она встала и

посмотрела в окно. Тяжелые тучи низко бежали по небу, вспышки зарниц то и дело освещали комнату.

«Дождь будет», — озабоченно подумала она. Подошла к безмятежно спавшим Павле и Шалико, поправила им одеяло, Зурия похрюкивала. Она решила, что он лежит неудобно, и подняла подушку повыше. Мальчик на мгновение открыл глаза, бессмысленно посмотрел на мать и снова заснул.

Хатуна села у окна и стала смотреть во двор. Постепенно ее охватили раздумья. То, что еще недавно там, на винограднике, причиняло ей такую мучительную боль, теперь казалось случайным вздором. Комната была полна спокойным и размеренным дыханием детей. Эти звуки заставляли биться ее сердце сильнее.

«Хорошие мои, — думала она и вытирала подолом рубашки слезы умиления, — подрастут скоро, выйдут в люди, сумеют постоять за себя! Пусть я умру, прежде чем изменю им!.. Что делать, разве я одна в таком положении?! Кто знает, сколько еще на свете таких несчастных и одиноких, как я! Лишь бы все было спокойно, лишь бы больше не было проклятой войны, а там — будь, что будет, как-нибудь проживем! Теперь мы уже оба работаем, и я, и Зурия, так что жить будет не трудно. Если у меня с работой и дальше будет все благополучно, тогда нам и сам черт не брат!.. Переселимся обратно в наш дом, напишу заявление, чтобы бригада Исайи дали в помощь... Всем помогают, а я что, хуже других?! Пока и в нашей халупе проживем, а там — встанем на ноги, может начнем и новый дом строить... Зурию обязательно женю. Сама подыщу ему девушку и будем вместе жить»...

В мечтах Хатуна уже видела себя окруженной внучатами.

«Молодой бабушкой буду!» — шептала женщина, и в глазах ее стояли слезы.

Сверкнула молния. Где-то глухо зарокотал гром.

Хатуна зябко повела плечами и встала, чтобы достать шаль. Когда она вернулась к окну, молния сверкнула так близко, что в освещенном лиловатым светом дворе можно было разглядеть даже телеграфные провода. Хатуна испугалась, как бы молния не ударила в дом. Она наспех оделась и вышла на балкон, словно этим могла бы оградить дом от удара молнии.

Влажный ветер ударил ей в лицо. Наверное, в горах уже шел дождь. Стукнула калитка. Что это — ветер, или кто-нибудь вошел во двор?

Хатуна, прижавшись к столбу, стала всматриваться в темноту. Ничего нельзя было разглядеть. На балконе свистел ветер. Лицо и голые руки Хатуны стали мокрыми от дождя. Кто-то шел по двору.

«Кто это может быть? Кому понадобилось идти в контору так поздно?!» — подумала Хатуна и, прежде чем пришедший подошел к лестнице, окликнула его сверху:

— Кто там?

— Хатуна... — отозвался из темноты хриловатый старческий голос.

У женщины замерло сердце.

— Что случилось?

— Хатуна, дочка, срочная телеграмма тебе.

— О, господи!

Хатуна сорвалась с места, сбегала по каменной лестнице ихватила сложенную вдвое белую бумагу из рук старика.

— По телефону передали, из Циплискарро, — извинялся старик, оказавшийся сторожем сельсовета. — Ты не бойся только.

— Отец! Дорогой отец! — простонала Хатуна и, не помня себя от

страха, стала медленно подниматься по лестнице. Неожиданно колени у нее подогнулись, и она чуть не упала.

— Не бойся, дочка, ведь ничего страшного нет, болен человек, подбадривал ее стоявший внизу сторож.

Поднявшись на балкон, Хатуна при свете спички прочла телеграмму и тут же, уронив голову на перила, разрыдалась.

12

Известие о тяжелой болезни дедушки как громом поразило Зурию, проснувшегося среди ночи. Дедушка был его кумиром, он казался мальчику образцом мужественности, и поэтому, несмотря на причиненную обиду, Зурия по-прежнему обожал старика. При виде плачущей матери у мальчика слезы хлынули из глаз.

Хатуна обняла сына и постаралась успокоить его.

Оставшуюся часть ночи они провели без сна. Плакали, вспоминали Спиридона, говорили только о том хорошем, что старик сделал для них обоих. Им казалось, что он уже умер. Ни мать, ни сын не мыслили его живым.

Мальши спали беспробудным сном до самого утра. Первым проснулся Шалва.

— Мама куда-то ушла! — протирая глаза, захныкал он и ткнул брата кулаком в бок. Павле сразу проснулся.

Зурия, уже одетый, хозяйничал около горячей печи.

— Сейчас придет, — немного гнусавым голосом ответил он.

Вскоре плачущая и осунувшаяся после бессонной ночи Хатуна вернулась в сопровождении Маргариты.

Не обращая внимания на детей, Хатуна открыла стеной шкаф, подняла крышку ларя, в котором хранились продукты, объяснила Маргарите где и что лежит и протянула ей тонкую пачку рубликов, только что взятых в долг у Эленэ Лашхи.

Маргарита присела к столу и начала считать деньги.

— Вся надежда на тебя, Маргарита, — сказала Хатуна, когда та кончила считать. — Значит, присмотришь за ними?

— Да, да. Не беспокойся, — заверила ее счетовод.

Зурия нахлобучил отцовский картуз.

— А я ничего не забыла? — Хатуна обвела комнату взглядом и только сейчас заметила сидевших на кровати детей, которые удивленно вытупив глаза смотрели на нее.

— Мама, куда ты идешь? — запинаясь, спросил Шалва.

— Смотри-ка, они уже проснулись! — воскликнула Хатуна, подбежала к детям, прижала их к себе и стала осыпать поцелуями.

— Будьте умницами... Слушайте тетю Маргариту... — шептала она, — тетя Маргарита останется с вами, она и ночевать будет здесь...

— А ты куда идешь, мама? — теперь уже Шалва заревел во весь голос.

У Хатуны не хватило сил скрывать случившееся. Со слезами на глазах она объяснила детям куда и зачем едет.

Павле нахмурился, Шалва заревел еще громче, но не потому, что с дедушкой что-то случилось, а потому, что не хотел отпустить мать.

У Хатуны сердце защемило от боли. Еще раз наказав Маргарите не оставлять детей без присмотра, она накинула на голову платок и не смотря на душераздирающий рев Шалвы, поспешно вышла из комнаты.

Всю дорогу от Сакауры до Циплискарю мать и сын почти бежали. Каждую минуту им мерещился далекий паровозный гудок.

— Поезд? — то и дело спрашивала сына спотыкавшаяся от усталости Хатуна. Они уже подошли к окраине Циплискарро, когда увидели, что состав подали на станцию.

— Слава богу, уцели, — отдышавшись, сказала Хатуна и замедлила шаги.

До отхода поезда еще оставалось время. Хатуна зашла в магазин и купила буханку белого хлеба, чтобы отослать домой с Зурией. В Циплискарро пекли очень вкусный хлеб.

— Мам, ты не опоздаешь? — торопил мать Зурия.

Они вышли на платформу. В поезде уже было много народу. Свободных мест для сидения не оказалось.

— Ничего, сяду на чемодан, — успокоила сына Хатуна.

— Когда вернешься?

— Сойди, сынок, не мешай людям проходить.

— Ну, тогда выгляни в окно.

Зурия спрыгнул на платформу и, пройдя немного вдоль вагона, остановился у того окна, где рассчитывал увидеть мать.

Наконец, очевидно с трудом пробившись через переполненный вагон, Хатуна выглянула из окна.

— Когда тебя встречать? — нетерпеливо кричал снизу Зурия.

— Уходи, не жди! — не расслышав вопроса, сказала сыну Хатуна. — Как приеду, пришлю телеграмму или позвоню, скажу, как там дела... Смотри, не обижай детей! Да, правда, может козу отправите с пастухами в горы? Скажи им, относительно денег, мол, мать договорится, когда придет...

Зурии хотелось заплакать. Он едва сдерживался.

— Понял? — спросила сверху Хатуна.

— Понял, — пробормотал Зурия.

— Мальчиков не лупи, слышишь?!

Раздался звонок. Состав тронулся.

Хатуна что-то еще крикнула из окна, но Зурия не слышал.

Оставшиеся на платформе люди махали руками вслед отходящему поезду. Зурия тоже поднял руку.

Хатуна чуть не по пояс высунулась из окна. Она жадно смотрела на сына и махала ему кончиком зажатой в руках шали.

Поезд миновал пакгауз, колеса простучали на стрелках. Паровоз уже подходил к семафору.

Зурия бежал по насыпи, которая начиналась прямо от платформы.

Матери уже не было видно. Ее руки, высунутые из окна, затерялись среди чужих рук.

Зурия остановился. Некоторое время, пока хвост поезда не скрылся за поворотом, он еще стоял, глотая слезы, потом повернулся и, удрученный, направился к залу ожидания.

«Куплю газету и заверну в нее хлеб», — подумал Зурия.

Газетный киоск оказался закрытым. Зурия пересек привокзальную площадь и вошел в магазин, где мать купила хлеб.

— Дяденька, нет ли у вас немного бумаги? — нерешительно спросил он у продавца.

— Для чего тебе бумага?

— Хлеб завернуть.

— Гм... А так не можешь нести? Все теперь по-интеллигентному хотят!.. На, возьми! — продавец положил на прилавок кусок жесткой похожей на картон, бумаги.

Зурия завернул хлеб и, довольный, вышел из магазина.

— Эй, ты, парень, пойдн сюда! — позвал его кто-то с противоположной стороны улицы.

Зурия оглянулся. Какой-то тучный, лысый человек смотрел в его сторону и вытирал вспотевший затылок пестрым платком.

Мальчик подошел и остановился шагах в двух от незнакомца.

— Помоги донести вот это.

Зурия сперва посмотрел на мокрый от керосина бидон, потом перевел взгляд на хозяина.

— Чего смотришь? Двадцать копеек дам, — толстяк поставил на мостовую керосиновый бидон. — Донеси до поворота, вон до того дома, видишь, где военкомат... Ладно, черт с ним, тридцать дам!

Зурия чуть было не взял бидон. Он подумал, что военкомат ему по дороге и что до поворота всего два шага, но гордость не позволила, и он молча зашагал прочь.

— Смотри на него, еще куражится! — послышался за его спиной обиженный голос толстяка.

«Пусть сам поцесет, ничего с ним не случится!» — думал Зурия, то и дело оглядываясь, чтобы посмотреть, стоит ли там толстяк или ушел.

— Значит, не хочешь тридцать копеек? — опять крикнул мужчина.

«Тридцать копеек... А почему, собственно, я отказываюсь? — Зурия остановился и пошел обратно. — Понесу, подумаешь, что тут такого! Здесь ведь меня никто не знает».

— Давно бы так, слыхано ли столько торговаться! — облегченно вздохнул толстяк и зашагал вслед за мальчиком.

Зурия чуть не бросил бидон, но вовремя сообразил, что такая неуместная выходка была бы просто смешна.

Они шли долго. Ручка бидона врезалась мальчику в пальцы. Ему уже давно хотелось сменить руку, но он боялся запачкать керосином хлеб.

«Хоть бы догадался взять у меня хлеб, черт лысый! Вот недогадливый человек!» — с досадой думал Зурия, уже сожалея о том, что согласился на предложение толстяка.

Дотащив, наконец, бидон до поворота, Зурия поставил его на мостовую и обернулся.

Владелец бидона, тяжело дыша, плелся позади.

— Бросаешь меня посреди дороги? — изумленно вытаращил он глаза, поравнявшись с Зурией.

— Но ведь сказали: до военкомата! — Зурия не мог скрыть накопившуюся злость.

— Вон на тот балкон надо подняться, видишь?! — толстяк показал на стоящий за высоким забором дом с окрашенным в голубой цвет балконом, но, заметив, что мальчик его не слушает, вызывающе добавил: — Не хочешь нести?

— Нет! — резко отрезал Зурия.

— Очень хорошо. Тогда ты иди своей дорогой, а я своей!

Зурия бросил ненавидящий взгляд на эту «говорящую тушу» и, ничего не ответив, пошел прочь.

— Иди сюда! Эй, мальчик! — закричала «туша». — Иди сюда, слышишь!

Раздосадованный Зурия обернулся.

— На твои тридцать копеек!

— Оставьте их себе!

— Не болтай лишнего, бери, когда дают!

Владелец бидона завернул монеты в клочок бумаги и бросил.

«Зачем терять? Все равно кто-нибудь пройдет и возьмет!» — подумал мальчик, нагнулся, поднял деньги, сунул их в карман.



Кузница оказалась запертой. Зурия удивился... Кузнец Захар всегда открывал кузницу на рассвете.

«Тут что-то не так», — промелькнуло у мальчика в голове, и он собрался пойти к Захару узнать в чем дело, но, вспомнив о хлебе, который по-прежнему держал под мышкой, решил сначала забежать домой.

Подойдя к воротам конторы, он невольно остановился. На балконе толпились люди.

Зурия сначала испугался, но, увидев во дворе маленького Шалву, успокоился. Мальчик кормил побегами акации козу Ркахатулу, привязанную к телеграфному столбу.

— А где Павле? — окликнул Зурия брата.

Шалва вздрогнул, выхватил палец изо рта ненасытной козы и обернулся.

— Палико пошел в школу.

— Что с тобой, почему ты такой надутый?

Шалва ничего не ответил, потом хмуро спросил:

— А мама скоро вернется?

— Скоро, скоро, не век же ей там оставаться! Почему здесь народ собрался?

Шалва виновато заглянул брату в глаза. Увлеченный кормлением, он и не заметил, что творится вокруг.

Зурии почему-то стало жаль брата.

— Белого хлеба хочешь?

— А где?

— Вот, отнеси в дом. Поешь, если хочешь. Подожди, я тебе отломлю.

Зурия развернул бумагу и отломил брату довольно большой кусок.

— На, ешь!

— Ты не идешь домой?

— Сейчас приду, я занят.

— Чем занят?

— Что я, обо всем тебе должен докладывать? Быков нужно достать.

— Быков? — У Шалвы от восторга заблестели глаза, хлеб выпал из рук. Испугавшись, что брат рассердится, он быстро нагнулся и поднял его.

— Эх, ты, разиня! — крикнул малышу Зурия и стал разглядывать собравшихся на балконе людей.

Все, что произошло накануне днем, он знал во всех подробностях. Теперь, решил он, созвали собрание. Значит, кузнец Захар тоже должен прийти сюда. Однако ни на балконе, ни во дворе Захара не было видно.

Дома его тоже не оказалось. На зов Зурии никто не отозвался.

Через некоторое время Зурия стоял уже у ворот Сивсивадзе.

Гванца работала в огороде. Тихо напевая, она тяткой рыхлила землю на свежевскопанной грядке.

— Бух! — крикнул Зурия над ухом девочки.

Гванца вздрогнула, повернула голову, и тотчас улыбка осветила ее лицо.

— О чем ты это пела? — Зурия улыбнулся.

Гванца покраснела и тыльной стороной руки отбросила упавшие на лоб волосы.

— Ты влюблена? — не отставал Зурия.

— Тише ты, вдруг кто-нибудь услышит! — еще больше покраснела Гванца.

— А почему же ты пела песню про любовь?



— Все песни про любовь.
— Все?
— Все хорошие песни, — уточнила Гванца и опять провела рукой по волосам.
— Чего только не придумашь, лишь бы оправдаться, — улыбнулся Зурия. — И к нам совсем не заходишь!
— Почему это я должна приходиться? Разве сам не можешь зайти?
— Эх, где у меня время!
— Думаешь, у меня много времени? Бери-ка лучше заступ и вскопай эту грядку.
Зурия взял заступ, повертел его в руках.
— Огурцы сажаешь. что ли?
— Розы! — лукаво улыбнулась Гванца.
— На что они тебе?
— Ему должна послать.
— Кому? — У Зурии почему-то выступил пот. Гванца громко рассмеялась.
— Копай же, ну! Ты что, копать не умеешь?
— Может, ты меня научишь? — он испытующе посмотрел ей в глаза и легко всадил заступ в рыхлую землю.
Покончив с грядкой, Зурия прислонил заступ к изгороди и присел на корточки возле Гванцы.
— Послушай, твой отец дома?
— Нет. С дядей Захаром пошли куда-то.
«Наверное в район отправились», — подумал Зурия и попросил одолжить ему быков.
— Сегодня мы перебираемся в наш дом, — твердо произнес Зурия, и лицо его сразу утратило детское выражение.
— Ой, правда? — обрадовалась Гванца. — Быки на ферме. А ты справишься?
— Они разрешат мне взять быков?
— Наверное, разрешат. Дедушка Йорам там.
— А ты не можешь пойти со мной? Скажешь, что отец, мол, велел одолжить быков.
— Но он ведь ничего не говорил?
— Скажешь, что говорил. Где сейчас найдешь твоего отца?! А у меня время не терпит, потому я и пришел сюда.
— Пусть тетя Хатуна сама скажет.
— Мамы нет дома. Ночью мы телеграмму получили, что дедушка заболел, и она уехала в Зестафони.
— Ух ты! — опечалилась Гванца. — Так чего же ты спешишь, придет мама и тогда переедете. Что ты можешь сделать один?!
— Мама просила, чтобы до ее приезда я все сделал, — соврал Зурия. Он решил во что бы то ни стало встретить мать в отцовском доме.
— Жаль мне тебя, Зури, — важно, словно взрослая женщина, произнесла Гванца. — Пойду-ка я с тобой, помогу тебе.
— Да, было бы хорошо. Только ты побыстрее, до вечера нужно управиться, а то мне завтра будет некогда.
Арбу и ярмо Эгнатэ оставил во дворе, но ременных нашильников, которыми дышло прикреплялось к ярму, нигде не оказалось. Нашильники были из сыромятной кожи и Эгнатэ прятал их от щенка, который грыз все, что попадало ему на глаза.
Гванца тщетно искала и в амбаре, и в винном погребе, заглянула даже в давилню. Зурия огорчился. Ну как же теперь впрячь быков?

— Сейчас принесу! — сказала Гванца и куда-то побежала. Минут через пять она вернулась.

— Ну, что? — спросил Зурия.

— У Миротадзе тоже никого нет.

— Зачем тебя туда понесло? — проворчал Зурия.

— Поблизости ни у кого больше нет... Я пойду, пригоню быков, а ты выкати арбу на дорогу. Открой ворота. Знаешь, как они открываются?

— А ремни?

— За ними потом схожу.

И Гванца выбежала за ворота.

«Деловая девчонка!» — подумал Зурия, не найдя других слов для похвалы.

Он поднялся на террасу, обшарил все углы, но ничего не нашел, кроме острого, как бритва, топорика.

«Как все налажено у дяди Эгнатэ! — думал Зурия, пробуя пальцем лезвие. — Так и должно быть у настоящего хозяина!»

В углу террасы стояли плетеные корзины, покрытые рогожей. Зурия в поисках ремней заглянул в каждую из них. Не найдя ничего, он снова вышел во двор, держа в руке топорик. За воротами, по ту сторону дороги, где зимою и летом не умолкая журчал ручей, росли плакучие ивы. Тонкие ветви их концами касались земли.

«А ивовые прутья могут пригодиться!» — мелькнуло у Зурии в голове.

Он срезал несколько прутьев и отнес во двор. В Калосубани он не раз видел, как из таких же прутьев плетут ремни. Мальчик наступил ногой на толстый конец прута и начал осторожно вращать тонкий. Прутья были гибкие и не ломались. Вскоре две пары таких скрученных прутьев он сплел вместе, чтобы придать им прочность, а потом прикрепил к слегам арбы так же, как привязывают настоящие кожаные напильники.

— Да ты, оказывается, настоящий аробщик, Зурия! — воскликнула восхищенная Гванца, когда загнала быков во двор, и, бросив хворостинку на землю, подошла к нему. — Почему арбу не выкатил?

— Зачем зря надрываться, а быки на что?

— Привязать их к забору?

— Зачем привязывать? Гони их сюда!

Зурия ловко надел на быков ярмо и, надежно закрепив притыки бечевкой, впряг их в арбу.

Гванца стояла поодаль и восхищенно смотрела на Зурию. Каждое движение мальчика приводило ее в восторг.

— Сядешь на арбу или пойдешь пешком? — окликнул ее Зурия, выводя арбу через открытые настежь ворота.

— Могу сесть, если хочешь...

— Ладно, садись. Только сначала помоги закрыть ворота.

Всю дорогу они оживленно болтали. Правда, арбу изрядно трясло на каменистой дороге, хотя аробщик и старался объезжать рытвины и ухабы.

У ворот конторы Зурия остановил арбу и удивленно взглянул на балкон: там не осталось ни души.

— Между прочим, Зурия, — словно прочтя его мысли, шепотом сказала Гванца, — ты знаешь, сколько народу собралось в Сахато? Ну, прямо как на базаре!

К арбе подбежали Павле и Шалико, давно поджидавшие брата у ворот.

— Подождите, успеете! — крикнул Зурия вскарабкавшимся на арбу братьям и снова обратился к Гванце: — Интересно, что же там случилось?

— Откуда я знаю, — пожалала плечами девочка.

— Сегодня никто не ушел в горы?

— Не думаю... Отец должен был пойти, но...

— А завтра пойдут?

— Не знаю, Зурия. Придет отец, я его спрошу.

— Хочу козу отправить вместе со стадом.

Мальчики устраивались на арбе. Зурия окинул их взглядом и направил быков к каменной лестнице.

14

Перепуганная Маргарита чуть было не подняла крик на все село, когда увидела, что дверь в комнату Миндели открыта и внутри никого нет.

Вещей в комнате тоже не было, лишь на полу валялись обрывки газетной бумаги.

Маргарита выбежала во двор и тут же узнала от соседок, что произошло: пока в Сахато на созванном впопыхах собрании люди обсуждали свои дела, Зурия пригнал откуда-то запряженную быками арбу и вывез из конторы все нехитрое имущество семьи Миндели.

Маргарита не стала выяснять, кто дал право так своевольничать сунку, у которого еще молоко на губах не обсохло. Помня лишь о том, что до возвращения Хатуны забота о детях лежит на ней, она побежала к старому дому Миндели, чтобы поскорее надрать уши этому «негодному мальчишке»... Не доходя до каменной ограды двора Миндели, Маргарита увидела Зурию, который, очевидно, заметил ее из окна и вышел навстречу.

Мальчик вежливо поздоровался с соседкой. Держался он с таким достоинством, что у Маргариты сразу отпало всякое желание выругать его.

— Милости просим, тетя Маргарита!

— Что ты сделал, парень, как тебе не стыдно?!

— Что я сделал? — с невозмутимым видом спросил Зурия.

— Разве так можно? Вывез все из дому, никого ни о чем не спросив! Нашел время для баловства!

— А я вовсе не балуюсь, тетя Маргарита. Что мне мать наказала, то я и сделал. У нас есть свой дом и незачем нам жить под чужой крышей!

— Нет, с ума сведет меня этот мальчишка! Погоди ты у меня, я все матери расскажу!

— Пожалуйста.

Хотя калитка была рядом, возмущенная Маргарита шагнула прямо через ограду и, не дожидаясь приглашения строптивного хозяина, решительно направилась к дому.

В комнате Гванца мыла пол.

— А это еще кто? — воскликнула Маргарита.

Раскрасневшаяся, усталая Гванца привычным движением откинула со лба прядь волос и снизу вверх посмотрела на гостью.

— Что ты зубы скалишь, девчонка, что тебе здесь надо? — окончательно вышла из себя Маргарита. — Подожди, увидишь, все доложу твоему отцу!

— Тетя Маргарита, Гванцу оставьте в покое. Она ни в чем не виновата, — заступился за подругу Зурия.

На языке у Маргариты вертелись обидные слова. Она уже не знала, сердиться ли ей на детей или рассмеяться.

— Ничего там не оставили?—примирившись, наконец, с тем, что случилось, спросила она.

— Нет, — мотнул головой Зурия.

— Как же мне теперь ходить сюда каждый день? Что я скажу вашей матери, когда она вернется? — сокрушалась Маргарита. — Если вы заранее так решили, почему Хатуна меня не предупредила?

— Наверное, забыла.

— Теперь ничего не поделаешь, — вздохнула Маргарита, окинув подозрительным взглядом по-хозяйски суетившуюся Гванцу и стоявшего неподалеку от нее Зурию. — Хатуна оставила мне деньги. Если понадобятся, можете прийти в контору. А я сюда ходить не могу.

Почти вся мебель стояла на своих местах, только кровати пока оставались на террасе. Из-за шкафа выглядывали головы близнецов кузнеца Захара, под столом, присев на корточки, прятались Шалва и Палико.

Маргарита ничего больше не сказала детям.

Зурия проводил гостью до калитки и стоял с видом победителя, пока шуплая фигурка Маргариты не скрылась.

Самолюбие Зурии было удовлетворено. Слава богу, он уже не ребенок, у него своя голова на плечах. В семейных делах он разбирается не хуже других. И вообще, кому какое дело до их семьи?! Разве дедушка Спиридон не так всегда поступал? Даже самым близким соседям он не разрешал совать носа в свои семейные дела. В Калосубани говорили, что у Спиридона Канчавели дом, как крепость!.. Так и должно быть!

Так думал внук Спиридона Канчавели и мысленно уже прикидывал, что ему надлежало сделать для того, чтобы восстановить отцовский дом.

«Если болезнь бабушки не затянется, мама скоро вернется домой и тогда все пойдет своим чередом. Сам дядя Захар сказал: «Ты только не ленись, а я помогу тебе получить аванс от колхоза. Отремонтируете дом, хозяйство заведете, а потом... Такую девушку приведем тебе, что звезды затмит своей красотой!»

Когда добродушный Захар заводил разговор на эту тему, Зурия краснел от смущения, хватался за шток кузнечных мехов и начинал яростно раздувать пламя в уже и без того полыхающем горне, и тогда ему казалось, что мехи со вздувшимися боками вместо обычного пыхтения издавали звуки какой-то знакомой, щемящей душу песни. Зурия закрывал глаза и старался представить себе лицо молодой женщины, той самой, чей образ преследовал его с детства, с того памятного дня, когда он, заболев корью, впервые увидел ее в лихорадочном бреду. С тех пор Зурия считал, что это и есть его первая, запавшая глубоко в сердце, любовь. Не имело значения ни то, что он уже не помнил ее лица, которое постепенно превратилось в расплывшееся пятно, ни то, что на месте этого пятна могло оказаться любое другое лицо...

«Но сначала мне нужно обзавестись своим домом, — думал одиноко стоявший у калитки Зурия, кладя на место выпавший из ограды камень. У меня должно быть такое же образцовое хозяйство, как у дяди Захара».

Продолжение следует в № 1 за 1963 год

სილოვან ხარმანიძე

М О Р Е

Вчера с утра о скалы волны били,
Стонало море, мучась и мечась,
Горой вздымалось,
Падало в бессилье,
И бредило,
И не смыкало глаз,
И берега шатало, обозлясь.
А поутру пришли сюда сельчане,
Разгулом вольных вод привлечены.
И молчаливо слушали рычанье
Изломанной, как молния, волны,
Бродящей будто брага в гулком чане.
И скручивались волны,
Как жгуты,
И друг на друга прыгали упруго,
И, вдруг, остыв,
Прощения просили друг у друга
И, плача, низвергались с высоты.
И долго ширь седая рокотала,
И рваных волн трепались паруса,
Дышало море часто и устало,
И вот — изнемогло, оттрепетало
И стало ясным, словно небеса.
И берег опустел, как поле боя,
Последняя волна ушла, шурша,
И моря беспокойная душа
Вдруг обернулась гладью голубою,
Дремотно и размеренно дыша...
Но вмиг восстанет море-недотрога,
Коль ранит ветер синь тяжелых вод!
Оно блеснет неожиданно сталью строгой,
Оно живет извечною тревогой,
Стремленьем к обновлению живет!

Перевод с грузинского Д. Голубкова

Серго Пхакадзе

Шоколадная люлька

Ю МОРЕСКА

Перевод с грузинского В. Талахадзе

Имя для новорожденной выбирали целый месяц и, наконец, назвали ее Олимпиадой! Остановились на этом имени потому, что в те дни в Кутаиси проходила городская олимпиада самодеятельности — событие знаменательное и важное!

Родители холили и нежили единственную дочь.

Не осталась перед ними в долгу и Олико. Ученье никогда не было ее стихией — боже упаси! — и все же Олико все десять положенных лет исправно ходила в школу и аттестат получила — как все!

Выпорхнув из школы, Олико сразу же нашла свое призвание: одеваться по последней моде! Это целая проблема! Здесь нужны и талант, и умение, и выдержка. Олико зачастила в ателье мод, завела друзей в магазинах и на складах. Покупает она только редкое, модное и не иначе, как заграничное. Иногда после долгих поисков ей попадает пара ультрамодных туфель: «Уникум», — замирая от восторга шепчет Олико. Она надевает туфли, берет свою огромную сумку и, бойко постукивая острыми каблуками, спешит на главную улицу.

И здесь Олико не теряет времени даром: платье какой-то гражданки показалось ей недостаточно элегантным. «Экая деревенщина», — презрительно шипит ей вслед Олимпиада. Зато как неотразима другая женщина — пестрая, яркая, как вывеска. Олико догоняет ее, знакомится без лишних церемоний, выспрашивает подробнейшим образом, где куплены и сшиты эти очаровательные вещи. Все это так важно!

Особенно зачастила в магазины Олимпиада после того, как вышла замуж за сотрудника жилуправления Вардэна Мосешвили.

— Нужно уметь жить, голубчик, — сказала Олимпиада мужу на второй день свадьбы, — вкуса у меня достаточно, а деньги... деньги — это твое дело!

Вардэн нежно улыбнулся и осторожно приложился к ярко-морковным губам своей молодой супруги.

Олимпиада всегда знает, где ожидается заграничный товар. И тогда руки ее удивительным образом удлиняются и начинают шарить по карманам мужа. Но, увы, карманы часто оказываются пустыми!

Остается одно — продвинуть му-

жа по служебной лестнице, добиться этого во что бы то ни стало, иначе...

В тот вечер муж вернулся домой слегка навеселе. Он сообщил жене свежую новость: начальником жилищного управления назначен Элизбар Кухианидзе. Олимпиада обрадованно всплеснула руками и повисла на шее мужа.

— Радость моя! Если люди не забывают хлеба-соли, кресло заматвое! Сколько я этой зимой хачапури напекла Элизбару, сколько сациви наготовила.

— Видишь ли, вряд ли... Я приглашал его сегодня на обед и... ничего не добился...

— Ка-ак! — вскрикнула Олимпиада. — У него другой на примете, не ты?!

— Как сказать... За столом он выдал Бичико Бардавелидзе такой длиннейший тост...

— Молчи, бога ради, я с ума сойду! Как, этот Бардавелидзе и его кривобокая жена... Нет, я этого не вынесу!

Лицо разъяренной Олимпиады приобрело морковный оттенок.

— Успокойся, Олико! Что ты? С голоду мы не умрем, а человеческое счастье не в кресле зама!

— Будь проклят день нашей свадьбы! Можно ли быть таким дурнем! Человеческое счастье! Многое ты в этом понимаешь!

В тот вечер супруги повздорили не на шутку. Олимпиада всю ночь не сомкнула глаз. Едва рассвело, она оделась и собралась уходить.

— С сегодняшнего дня ноги моей не будет в этом доме, — крикнула она только что проснувшемуся мужу и, стуча каблуками, сбежала по лестнице.

Велико было изумление Вардэна, когда после полудня приоткрылась дверь его рабочей комнаты и вошла Олимпиада. Глаза ее сверкали.

Оглядев присутствующих, Олимпиада подала незаметный знак мужу и вышла в коридор. Вардэн покорно последовал за ней.

— Судьба нас милует, — тайно-венно прошептала Олимпиада.

— Что случилось, Олико?

— Ты ничего не знаешь?!

— А что именно?

— Нет, в самом деле?!

— Да скажи, наконец, что же случилось?

— У Элизбара — сын, только что звонила Кокона!

— Ах, да! Я очень рад, честное слово!

— Теперь или никогда решится твоя судьба, слышишь, — значительно зашептала Олимпиада.

— Я-то тут при чем?

— Пойми же, это первенец, первенец! Представляешь, как рады родители! Теперь главное — не пропустить случай!

— Хоть убей, ничего не понимаю, Олико!

— Не понимаешь — и не нужно, дурень ты этакий! Дай мне деньги, а остальное я сама устрою! Я им подарю в честь первенца такое, что твой Кухианидзе сам попросит: «Ноевич, пожалуйста, мол, в это кресло!»

Вардэн не стал противоречить, боясь, как бы супруга не учинила ему публичного скандала.

Было далеко за полночь. Улица спала глубоким сном. В домах давно погасли огни. Одно лишь оконце недреманным оком смотрит в ночь. Время от времени по стеклу скользнет тень женщины и исчезнет. В комнате раздастся стонущий голос, полный мольбы.

— Дай уснуть, милая, мне завтра рано вставать!

— Нет, сейчас не до сна. Нужно решить, наконец, что подарить новорожденному!

— Всю ночь думали и ничего не надумали! Мой выбор тебе не по вкусу! Что же мне делать? Дари, что хочешь! Дай мне спать, умоляю! — Вардэн повернулся на другой бок и захрапел.

— Мучитель, изверг! — взвизгнула Олимпиада и снова метнулась к окну. Постояла там, словно изучая

озабоченным взглядом выстроившиеся вдоль улицы чинары, потом круто повернулась.

— Ну, и жена у тебя, Вардэн, — сокровище! Придумала! Можешь спать теперь, сколько угодно!

...На другой день Олимпиада явилась в один из цехов кондитерской фабрики, где работал ее дальний родственник — Валико Коява.

— Ты должен мне помочь, Валико!

— Постараюсь, — ответил Валико, думая, что родственнице понадобится к случаю какой-нибудь особенный торт. Но даже он был поражен, когда Олимпиада потребовала:

— Сделай шоколадную люльку!

— Шоколадная люлька! — вытаращил глаза Валико. — У меня в ассортименте нет ничего похожего!

— Валико, генацвале, от этого подарка зависит моя жизнь!

— Не могу! Невозможно сделать люльку без формы!

— Ты меня убиваешь, Валико!.. — всплеснула руками Олико и закатила глаза, собираясь упасть в обморок.

— Выбери лучше что-нибудь другое, Олико, все, что тебе угодно!

— Нет и нет! — возмутилась Олико. — Люлька, и все! И слышать ничего не хочу!

— Пойми, Олико, не сердись, не выйдет это! — твердил Валико вконец расстроенной родственнице, гладя ее по плечу.

— Стыдись, Валико! Люльку из шоколада мне сделают и без тебя, город у нас большой... — сказала Олимпиада и решительно направилась к двери, как вдруг ее остановил голос Коява.

— Но для кого же нужен этот диковинный подарок?

— У Элизбара Кухианидзе вчера родился сын. Не могу же я явиться к нему с обыкновенным подарком!

— У Элизбара?! Начальника жилуправления?

Олико мотнула головой.

— Что ты говоришь, Олико! Что же ты молчала? У Элизбара сын! Для него я не только люльку, жарптицу добуду! Иди, а остальное я устрою сам! Шоколадная люлька будет готова к вечеру.

Не помня себя от радости, Олико чмокнула Валико и, постукивая каблуками, вышла из комнаты.

«Человек предполагает, а бог располагает», — говорит пословица. Так случилось и с нашими героями. В тот вечер Вардэн вернулся со службы удрученный и мрачный.

— Покажись-ка, — крикнула с балкона Олико вошедшему во двор мужу.

Вардэн, будто не слыша, поднялся по лестнице, прошел мимо жены и, не глядя на нее, вошел в комнату.

— Нас опередили?! Все кончено?!

— Да... заместитель назначен, — еле слышно пролепетал Вардэн.

— Назначен! — Олимпиада хлопнула себя по щекам и тут же упала без чувств.

— Олико! Олико! Открой глаза! Скажи что-нибудь! Пожалей меня, Олико.

Вардэн Мосешвили не знал еще своей жены, думая, что душа ее так легко расстанется с бранным телом. Олимпиада быстро пришла в себя, привстала, уселась на тахте и посмотрела на мужа так, словно перед нею был мертвец.

В соседней комнате зазвонил телефон. Олимпиада вышла и взяла трубку.

В трубке рокотал веселый бас Валико:

— Твой заказ выполнен. Олико, можешь прийти за подарком.

Олико вскрикнула и злобно швырнула трубку на рычажок аппарата.



Ираклий Андроников

Четыре года

ИЗ ЖИЗНИ

Ильи



Если вы попадете в Кахетию — благодатный виноградник, раскинувшийся во всю длину и во всю ширину Алазанской долины, — потом уже никогда ее не забудете, как не забудете гор, за которыми лежит Дагестан. Голубые, аквадельные на рассвете, потом кудрявые, темно-зеленые, с изумрудными вершинами, кое-где посеребренными снегом. Потом — могучие, синие, тронутые волокном облаков, они начинают лиловеть постепенно и как бы отдаляются, подернутые той сизой дымкой, какая бывает на коже спелой сливы. В полуденный зной облака свиваются, набухают, бросая на склоны гор фантастические пятна теней. А к вечеру снова великой стеной стоят горы — чистые, легкие, на фоне светлого предзакатного неба — в розовой и золотой парче.

У подножия этих гор в селении Кварели родился Илья Чавчавадзе. И когда двадцатилетним юношей он покидал родину, чтобы продолжить образование в Петербурге, то первое свое стихотворение посвятил этим горам:

Горы Кварели! Вдали от родного селения
Может ли сердце о вас вспоминать без волненья?

Где бы я ни был, со мною вы, горы, повсюду, —
Сын ваш мятежный, ужели я вас позабуду?

Горы Кварели, спутники юности нежной,
Долг перед жизнью влечет меня в путь неизбежный.

Судьбы грядущего требуют нашей разлуки, —
Можно ли требовать более тягостной муки!

Конь мой торопится, стонет душа от печали,
С каждым вы шагом уходите в синие дали...

Вот вы исчезли... И только вершины седые
Еле видны... И расстался я с вами впервые...

Тщетно глаза я от солнца рукой прикрываю,
Тщетно я взоры в пустое пространство вперяю, —

Всюду раскинулись синего неба просторы,
Уж не венчают их больше прекрасные горы!

О, так прощайте же, дивные горы Кварели!
Сердце мое, полюбившее вас с колыбели,

Вечно любовью к великой отчизне пылая,
Вам улыбнется, рыдая, из дальнего края!

Удивительно это поэтическое рождение Ильи Чавчавадзе! В то самое время, когда он прощался с горами, расставался с благословенной Кахетией, оставлял на долгие годы Грузию, отваживаясь на далекое путешествие, когда устремлялся на Север, чтобы образовать свой ум и, как говорил он, «привести в движение мозг и сердце» — тут-то и ощутил он себя поэтом. Чувства, дотолде молчавшие, обрели голос, стих — чеканную и мужественную форму, и полились строфы, полные патриотического жара, клятвы в любви к отчизне и родному народу.

Все двадцать прожитых лет: детство в Кварели, запавшие в душу наставления матери, нравочения нянюшки Саломе, рассказы сельского дьякона, фантастика сказок народных и ужасающая действительность — жизнь угнетенного трудового народа; поэзия народных преданий и песен и проза жизни дореформенного дворянства; богатый мир, открывшийся на уроках тифлисской гимназии, Руставели, Пушкин, Шекспир, разговоры с друзьями — все, что видел взор, что любило, от чего страдало и горело его благородное сердце, все ждало только часа, чтобы излиться. Но прежде надо было понять: кто виноват? и что делать? Ответ на эти вопросы можно было найти только в далеком Петербурге.

Четыре года, проведенные в Петербурге, он называл потом «золотыми годами», «фундаментом жизни», «первоисточником жизни». Если не обратиться к этим годам в его биографии, не вдуматься в их значение, то не понять Ильи Чавчавадзе, не оценить его литературно-общественного подвига, не постигнуть новаторского характера его стихов и его прозы, бурного созревания его поэтических сил.

Откроем книжки «Современника» — журнала, руководителем которого был в ту пору великий революционер и мыслитель Николай Гаврилович Чернышевский. Перелистаем тонкие листы герценовского «Колокола». Сопоставим высказывания Ильи Чавчавадзе с мыслями Белинского, Чернышевского, Добролюбова. Всмотримся в лица петербургских студентов тех лет на выцветших фотографиях — в лица русских, грузин, поляков, — студентов, сидевших за «беспорядки» и в Петропавловской крепости и в Кронштадтской. Вдумаемся в то, какое значение имело для Ильи Чавчавадзе и для его славных сверстников — Лордкипанидзе, Накашидзе, обоих Гогоберидзе, для Георгия Церетели, для Кохта Абхазы, Исаришвили, Нико Николадзе общение с Чернышевским, принадлежность к его кружку. И только тогда мы поймем, какое обилие мыслей, какую верность идее, какую преданность общему делу освобождения народа вынесли эти передовые грузины, или, как назвал их Илья Чавчавадзе, «тердалеулеби» («испившие воды Терека» — то есть побывавшие по сю сторону Кавказских гор), — сколько вынесли они из общения с вождем русской революционной демократии, какую великую роль сыграли эти четыре года в жизни и творчестве Чавчавадзе.

Перелистаем его сочинения. Посмотрим стихи, поэмы, прозу, написанное им в тысяча восемьсот пятьдесят седьмом — шестьдесят первом годах, вещи, под которыми выставлены пометы: «С. Петербург», «Тярлово», «Павловск».

Вот стихотворение, написанное через год после переезда в столицу.



Пусть я умру — в душе боязни нет,
Лишь только б мой уединенный след
Заметил тот, кто выйдет вслед за мною;
Чтоб над моей могильною плитою —
Далекий житель солнечных долин —
Склонился мой возлюбленный грузин
И голосом, исполненным участия,
Мне пожелал спокойствия и счастья,
И так сказал: «Хоть рано ты умолк,
Но ты исполнил свой великий долг,
И песнь твоя от самого начала
Нам не напрасно с Севера звучала!

Из далекого Петербурга летит эта клятва за Кавказские горы, клятва самоотверженно служить народу и, если надо, умереть за него — стать «мостом для грядущей победы». И в тесном кругу грузинских студентов Чавчавадзе сочиняет агитационную песню, которая звучит как призыв к этой священной жертве:

Путь наш прям и бескорыстен,
И один завет в груди:
Вожаки мостом должны быть
Для идущих позади!

Каждой грузинке-матери Илья Чавчавадзе желает вырастить достойного сына для борьбы за великое дело свободы. К равенству, к братству зовет поэт страну, предрекая победу:

Руку, воин, на клинок!
Позабудь бывшие беды!
Час сраженья недалек,
Наступает день победы!

«Лишь ружье — добытчик свободы» — эта формула из драматической поэмы Илья Чавчавадзе «Мать и сын» перекликается со строками его поэмы «Видение», в которой он, как о «задаче нынешнего века», говорит о грядущем восстании во имя освобождения труда:

Труд на земле давно поработчен,
Но век идет, — и тяжкие оковы
Трещат и рвутся, и со всех сторон
Встают рабы, к возмездию готовы.
Освобожденье честного труда —
Вот в чем задача нынешнего века,
Недаром бурь народных череда
Встает во имя братства человека.

Падут оковы, рушится оплот
Проклятого насилья мирового,
И из побегов новых расцветет
Страна моя, родившаяся снова.

Какой жар пламенеет во всех этих стихах, призывающих к оружию, грезящих о революции! Но эти пылкие строки перемежаются горестными раздумьями о судьбе родного народа, который по-прежнему изнывает от рабства и нищеты.

В призрачном свете белой июньской ночи, околдовавшей спящий Петербург, поэту мерещатся очертания гор, родные долины... И перо выводит строки «Элегии», исполненной тягостного раздумья:

В туманном блеске лунного сиянья
В глубоком сне лежит мой край родной.
Кавказских гор седые изваянья
Стоят вдаль, одеты синей мглой.
Какая тишь! Ни шелеста, ни зова...
Безмолвно спит моя отчизна-мать.
Лишь слабый стон среди сумрака ночного
Прорвется вдруг, и стихнет все опять...

Стою один.. И тень от горных кряжей
Лежит внизу, печальна и темна.
О господи! Все сон да сон... Когда же,
Когда же мы воспрянем ото сна?



«Элегия», «Пахарь», «Грузинской матери», «Колыбельная», «Поэт», «Му-
ша», «Песня грузинских студентов», «Николозу Бараташвили», «Страдал и я...»,
«Александру Чавчавадзе» — все это создано в Петербурге в те четыре года.
А поэмы! «Видение»! «Мать и сын»! А проза — «Рассказ нищего»! «Человек

ли он?»! «Записки проезжего»!.. А
переводы — из Пушкина, Лермонто-
ва, Гете, Шиллера, Андре Шенье,
Байрона, Вальтера Скотта, Рюккерта,
Гейне!.. Все за четыре года!

Какое поразительное начало! Ка-
кая зрелость мысли и формы! Какое
гражданское мужество и новизна тем
в произведениях двадцати — двадца-
тичетырехлетнего юноши! Немногие
так начинали свой путь! Кажется, что
у Ильи Чавчавадзе не было годов
ученичества — он начал как зрелый
поэт! И невольно поражаешься тому,
как много успел он задумать и соз-
дать все в эти же самые короткие че-
тыре года, раскрыв такое разнообра-
зие своих поэтических средств,—ис-
пытав силы в аллегорической поэме
«Видение», показав себя тонким бы-
тописателем в «Рассказе нищего»,
жестоким сатириком в повести «Чело-
век ли он?», обнаружив ог-
ромную творческую силу в стихах
от нежной «Элегии» до полных граж-
данской страсти «Пахаря» и «Му-
ши». Вот строки из стихотворения
«Муша», что в переводе означает
«рабочий», «носильщик». Вчераш-
ний раб-земледелец,—он стал голод-
ным поденщиком, рабом городских
богачей...



В знойный день, в Тбилиси, около базара
Проходил я часто. Черный от загара,
У стены лежал ты, брат мой несчастливый,
Сердце надрывал мне твой напев тоскливый.
Жизнь твою прочел я в этих скорбных звуках, —
Труд во имя хлеба в горестях и муках.
Кто ты, брат мой бедный? В чем твоя кручина?
Может, не стерпел ты плети господина
И, семью покинув, кров забыл домашний,
Бросил дом отцовский, распростился с пашней?
Низко ты склонился над мешком, бедняга!
Хриплое дыханье сотрясает грудь,
Прилипают к телу потная рубаха,
Подкосились ноги, шагу не шагнуть!
Люди к этим мукам полны безразличья,
Вот летит на дрожках важный господин,
И тебя, частицу божьего величия,
Сшиб он, опрокинув, как пустой кувшин.

Так всю жизнь в работе, муке и печали,
 Не отведав счастья, проживешь ты, друг,
 До тех пор, покада где-нибудь в подвале
 Не ударит в сердце тягостный недуг.
 Ты умрешь, и тело на носилки бросят,
 И без слов заруют труп холодный твой.
 И никто не вспомнит, и никто не спросит,
 Как ты жил когда-то на земле родной.

В каждом новом воплощении патриотическая тема звучит у Чавчавадзе по-новому, как она еще не звучала в грузинской поэзии, ибо новый смысл дает ей призыв к освобождению трудового народа от цепей позорного рабства, глупокая социальная сила его вещей. Не мечтатель-романтик, оплакивающий былое величие родины, выступает в этих произведениях, а человек новой эпохи, новых идей, человек дела, поборник сближения народов Грузии и России, беспощадный обличитель крепостничества. Чавчавадзе ввел в литературу пахаря, рабочего, нищего. На грани шестидесятых годов прошлого века петербургский студент выступает от их имени, живет их страданиями. Не идиллические картины сельской жизни рисует он; он обращает взор не на отдельные темные стороны жизни народа, а раскрывает весь ужас его бесправия и нищеты. Не много можно назвать писателей и поэтов — современников молодого Ильи Чавчавадзе, кто с такой потрясающей силой, с таким знанием народных характеров, с такой пламенной надеждой на будущее освобождение народа изображал бы невыносимость его рабского состояния. Не многих можно назвать рядом с Ильей Чавчавадзе, кто в те годы создавал образы нищих и разбойников и обнажал бы так беспощадно их социальный конфликт с классом господ! В этом смысле Илья Чавчавадзе и среди русских писателей — в числе самых первых и самых смелых! В этом смысле очень интересно сопоставить его с Некрасовым — с произведениями того же периода — тысяча восемьсот пятьдесят седьмого — шестьдесят первого годов, — такими, как «Несчастные» с их «Песней преступников» (1856), «Размышления у парадного подъезда» (1857), «Песня Еремушки» (1859), «Плач детей» (1860), «Коробейники» с включенной в них «Песней убогого странника» (1861), «Крестьянские дети» (1861)...

Повесть Ильи Чавчавадзе «Человек ли он?» о кахетинском помещике Луарсабе Таткаридзе и его жене Дареджан часто сравнивают со «Старосветскими помещиками» Гоголя. Но тут сходство скорее внешнее, ибо с безобидными старичками из гоголевского «Миргорода», с лирическим тоном гоголевского повествования произведение Ильи Чавчавадзе имеет весьма мало общего. Праздные, невежественные, тупые, дошедшие в своем обжорстве до состояния животных, эти существа являют собою злейшую карикатуру на человечество. И если уж говорить о сходстве с Гоголем, то надо вспомнить «Мертвые души». Но еще ближе эта вещь к сатире зрелого Щедрина.

Вернемся, однако, к лирике Ильи Чавчавадзе. Прочтем одно из самых замечательных его стихотворений:

Слышу звук цепей спадающих,
 Звук цепей неволи древней!
 Не гремела никогда еще
 Правда над землей так гневно.
 Слышу я — и в восхищени
 Грудь живой надеждой дышит.
 Вешний гром освобожденья
 И в родной стране услышат.

О каких спадающих цепях нишет поэт в России в июле тысяча восемьсот шестидесятого года? Гром какого освобождения должны услышать в его родной Грузии? Если не знать этого — вся глубина этих строк, весь их исторический и политический смысл останутся непонятными. Но сопоставим стихотворение с теми событиями, которые волновали тогда Чавчавадзе, и станет ясно: оно выражает настроения не только самого Чавчавадзе, не только передовой части грузинского общества, но всей революционной молодежи того времени — и грузинской, и русской, и европейской.

Что же происходило в ту пору?

Пятого мая тысяча восемьсот шестидесятого года в Италии начался поход славной «Тысячи» — тысячи волонтеров, вставших под знамена Джузеппе Гарибальди — вождя национально-освободительного движения. Гарибальдийская «тысяча» отправилась на освобождение Сицилии и Южной Италии от гнета ди-

насти Бурбонов. Рядом с итальянцами в этом отряде сражалась молодежь французская, английская, швейцарская, венгерская и, что особенно важно для нас, русская и украинская. Гарибальди завоевал себе популярность во всех концах России. Имя его было окружено ореолом неувядаемой славы. Оно являлось символом грядущего освобождения угнетенных народов. В России с величайшим вниманием следили за успехами Гарибальди. И стихотворение Ильи Чавчавадзе, созданное через два с половиной месяца после начала похода гарибальдийской «тысячи», — это один из откликов, одно из проявлений того сочувствия, которое мы находим и в публицистических выступлениях Герцена, и в обзорах журнала «Современник», принадлежавших перу Чернышевского, в статьях и в письмах Добролюбова, который как раз в это самое лето уехал лечиться в Италию. Движение Гарибальди русская революционная демократия связывала с положением русского народа, с перспективами русской революции. Только на широком фоне этих политических событий мы можем воспринять стихотворение Ильи Чавчавадзе не изолированно и понимать его не только применительно к Грузии, но поставить его в связь с гарибальдийским движением в России и той идейной атмосферой, которая окружала молодого грузинского поэта в кругу Чернышевского, в кругу «Современника»!

Вот мы и вернулись к «Современнику». И если ненависть к угнетателям народа и страстное стремление к защите угнетенных были подсказаны Илье Чавчавадзе самой грузинской жизнью, то направление его общественно-политической и литературной деятельности сформировалось под влиянием освободительных идей русской литературы. Не раз говорил и писал Илья Чавчавадзе о том воздействии, которое оказала русская литература на путь грузинского развития, на то, что составляет, — писал он, — «нашу духовную силу, наше сознание, нашу мысль». «Каждого из нас, — утверждал он, — взрастила русская литература». «Разумеется, — добавлял он, — такое влияние русской литературы могло принести пользу только тем, кто умел пропустить сквозь огонь собственной критики выводы этой литературы». Сочинения Ильи Чавчавадзе — поэта, драматурга, прозаика, критика, ученого, историка, выдающегося общественного и политического деятеля Грузии второй половины девятнадцатого столетия, доказывают, что тогда — в Петербурге, в юные годы — он усвоил передовые идеи эпохи творчески, пропустив их сквозь огонь своего гениального таланта. Он дал им неповторимое национально-историческое своеобразие, сообщил им печать своей личности. Именно потому он и сумел обрести свой собственный путь и первыми же своими произведениями ознаменовать начало нового периода в истории грузинской литературы.

Проезжая мрачный Дарьял, поднимаясь на Гомборский хребет, вглядываясь в подернутую нежной дымкой Кахетию — в «горы Кварели», — невольно воспринимаешь их теперь сквозь поэзию Ильи Чавчавадзе и видишь в них вечно живые памятники его подвигу. С благодарной любовью думаешь и о мудрых «Записках проезжего», и о случае из жизни разбойника, и особо — о самых первых петербургских стихах.

Сергей Городецкий

Публикуемое ниже стихотворение русского поэта Сергея Городецкого, посвященное Илье Чавчавадзе, было напечатано в 1907 году в газете «За-кавказье» (№189) и с тех пор в печати не появлялось.

Нам любезно предоставил его директор Кварельского государственного музея Ильи Чавчавадзе писатель Платон Кешелава.

ПАМЯТИ ГРУЗИНСКОГО ПОЭТА

Тебя не знал я, свет народа,
Но знаю я тебя, поэт,
Когда народ и мать-природа
Лелеют в сыне вечный свет,
И сын свой голос подымает
Такой великий и простой,
Что каждый в трепете внимает,
Чужой светлея чистотой.
Ты был таким. Я слышу крики.
Я слышу гул твоей земли
И издалека, светлоликий,
Тебе кричу, поэт, внемли!
Поэт, внемли! Взирай оттуда:
Венчает родина тебя.
Народное свершая чудо,
Своею жизнью смерть губя!
Поэт, внемли! И Русь святая,
В простых сокрытая сердцах,
Во тьме зарницею блистая,
Глядит на твой холодный прах.

12 IX 1907 г.

Эдуард Елигулашвили

Поэзия Л. Сулаберидзе в оригинале и в переводах

Вначале — об одном обстоятельстве, которое, на первый взгляд, прямого отношения к предмету настоящей статьи не имеет. Существует — не только негласно, но даже и вполне официально — убеждение, что при переводе с грузинского языка на русский текст «садится», становится меньше по объему. В основном это относится к переводу прозы, но теория эта имеет хождение и когда речь идет о поэзии. Кто и когда выдумал эту теорию — неизвестно, однако, насколько я знаю, уже даже «точно» высчитано, что уменьшение это составляет 15—20%. Процент, как видите, довольно значительный.

Чем же можно объяснить, — а значит и оправдать, — этот процесс в переводческом деле? Мне кажется — ничем. Русский язык — при всем стремлении к лаконизму — тяготеет в то же время к распространённому определению, сложна и многоступенчатая система местоимений. Кроме того — и это самое главное, так как мы имеем дело с языками различных грамматических типов, — грузинский глагол, богатый и многозначный, при переводе на русский язык, как правило, нуждается в описательных формах для достижения адекватности.

Мне кажется, что весьма интересно и поучительно было бы проследить в каждом случае при сокращении, что именно потерялось, исчезло из оригинала при переводе.

В этом отношении поэзия Ладосулаберидзе может представить значительный интерес. Ему есть что сказать читателю, и сказанное им должно быть донесено в переводе бережно и без потерь.

* * *

В многоголосом хоре грузинской поэзии стихи Ладосулаберидзе звучат своеобразно и характерно, их не в состоянии заглушить другие голоса — даже более сильные и «громкие».

Чем характеризуется творчество поэта? Если продолжать сравнения из области музыки, то следует признать, что поэзия Ладосулаберидзе скорее камерна, чем, скажем, полифонична или агитационно-массова. Это определение вовсе не является показателем масштабности или значимости творчества, а лишь указывает на средства изображения. В камерных произведениях Шопена и Шумана представлена вся гамма человеческих чувств и переживаний — от светлой радости до глубокого трагизма. Но выражены эти чувства своеобразными средствами.

Если бы понадобилось определить характерность поэзии Л. Сулаберидзе одним словом, мне кажется, что более других подошло бы слово **задушевность**. Поэт обладает умением вести поэтический разговор как бы с

ная манера нравится. Можно объявлять «бытовизмом», чуждым поэзии. Но индивидуальность автора надо понимать и уважать.

В последнее время, судя по всему, поэт ищет новые темы, новые средства поэтической выразительности. Он стал разрабатывать стихотворную форму, неприкрыто связанную с грузинской устно-поэтической традицией, — вспомним такие стихи из «Девятого вала», как «Мой плач и мой смех», «Хоть бы путь мне проложить», «Почему не замечаешь» и целый ряд других.

Значительное место в последнем сборнике занимает историческая тема — очевидно, явственно ощущаемая связь с исторической традицией привела поэта и к определенному направлению в тематических поисках.

Трудно сказать, насколько плодотворной будет форма стихотворного «посвящения», широко культивируемая в последнее время Ладо Сулаберидзе. Думаю, что если умение беседовать с глазу на глаз с читателем — сильная сторона поэзии Л. Сулаберидзе, то ограничение адресата стихотворения одним конкретным лицом может привести и к ограниченности содержания. В сочетании с такими характерными для поэзии Сулаберидзе и в других случаях привлекательными качествами, как точная бытовая деталь, разговорная интонация и т. д. — это может вызвать крен к мелкотемью, альбомности.

Во всяком случае для поэта, связанного жизненными и поэтическими корнями с Отечественной войной, тематический поиск вполне закономерен.

Сказанное здесь о поэзии Л. Сулаберидзе должно было дать какое-то — пусть довольно беглое — представление о его поэтическом облике, характерных чертах, отличающих его из общего хора, о том месте, которое занимает он в грузинской поэзии, о тенденциях его творчества в развитии. Не требует доказательств, что книга его переводов на русский (или любой другой) язык должна донести до читателя подлинный голос поэта, без накладки и потерь. С этой точки зрения и рассмотрим только что вышедшую в московском издательстве «Советский писатель» книгу стихов Л. Сулаберидзе «Надписи на скале».



Сборник открывается стихотворением «На проспекте Руставели». Очевидно, считается, что оно в состоянии дать читателю необходимый «ключ» к творчеству незнакомого поэта. Начинаем читать:

Не вчера ли это было? На
проспекте Руставели
Я детишками их видел —
голосистых — этих самых,
Что сегодня ходят чинно...
Как чертовски повзрослели,
Мужество в глазах глубоких,
лица с тонкими усами.
Девушки. Какая стройность!
Помнишь, с той горы кремнистой
В платящих коротких мчались
говорливо ручейками?
Нет! Иди со мною рядом...
Среди них, таких цветистых,
Потерять могу дорогу, —
придержи меня руками!

И так еще четыре строфы. Думаю, чтобы «не потерять дорогу», самое время «придержать руками». Только кого? Автора или переводчика? Давайте посмотрим: от кого пошли гулять по стихотворению косноязычные «детишки голосистые» (или даже еще пикантнее: «голосистых — этих самых»!), «чертовски повзрослели», «лица с тонкими усами», «мчались говорливо ручейками», и дальше — «милый ветер», «чуть-смущенная, лесная, дорогая юность наша», «клены с нежно лапчатой листвою»... К кому следует обращаться с разъяснениями, что поблизости от проспекта Руставели очень трудно разыскать «кремнистую гору»? Кто породил этот незамаскированный набор аксессуаров старинного жестокого романа?

Даже если оставить все это в стороне, мне кажется, из стихотворения попросту не вполне ясно, о чем в нем говорится. Прошу читателя поверить, что в оригинале все просто и понятно.

На русском языке самый размер стиха в сочетании с «детишками», «платящими» и «нежной юностью» звучит почти пародийно. Отчего переводчик А. Бондаревский решил выбрать шестнадцатисложный стих, каким перевели Руставели, да еще придать ему эдакую спотыкающуюся игривость? У автора — размер очень строгий — 10 слогов, 4

ударения, никаких ритмических «выкрутасов». Чтобы не обращаться еще раз к подстрочнику, приведу те же строки в переводе Вл. Соколова:

Давно ли на проспекте мы
встречались,
Как самые беспечные мальцы?
И не поймешь — когда они
прокрались
На наши лица — бороды, усы?!
Давно ль в коротких платьицах
сбежали
Девчонки по ступеням? А сейчас...
Пройдись со мной, прошу! А то
едва ли
Не растеряюсь я от женских глаз.

Сравнение двух переводов понадобилось мне не для доказательства истины, что лучше переводить грамотно, чем неграмотно, и — понятно, чем непонятно. Но второй перевод просто очень точно передает интонацию оригинала (ту интонацию задумчивой беседы, о которой уже говорилось). При сопоставлении совершенно очевидно и то, что пятистопный ямб превосходно «ложится» на это стихотворение.

Хочу отметить, что не только первое стихотворение, но и вообще весь сборник переводов Ладо Сулаберидзе изобилует такими выражениями, которые могут создать впечатление об авторе, как о поэте сентиментальном, чрезмерно восторженном, инфантильно чувствительном. Приведу примеры.

В стихотворении «На дороге» неизвестно откуда появляется строка: «Шум снежинки — словно шепот розы». Мне думается, что подобный образ противопоставлен не только данному поэту — сдержанному и искреннему, — но и современной поэзии вообще.

Из других стихотворений:

Замолк, напуган, пестрый и
певучий
Базар пичужий...
(«Самолет»)

Укладывает ли примерно
Сестрица кос твоих ручьи.
(«Письмо без адреса»)

Струится из окна на улицу
Его усталый голосок.
(«Ночью»)

Я к тебе прикован всей властью
любовных пут.

Золотые стрелы солнца любви
жестоки
(«В тунике»)

Любовь томила, как заклятье,
Я шел на зов, заморожен.
(«Клен», который у автора был
«Чинарой»!)

Количество таких примеров может быть умножено. И наряду с подобными слащаво-сентиментальными строками вдруг может появиться, как в стихотворении «Опять расставание», неожиданный и неоправданный канцеляризм:

...В течение грядущей недели
Освещать будет так же она...

Это — о луне: «в течение грядущей недели». Не из прогноза ли погоды это?

Все эти «мелочи» искажают облик поэта. Создается впечатление, что подобные «образы» черпаются переводчиками не из оригинала, а из какого-то неведомого хранилища дежурной переводной «экзотики». И каким результатом приводит «концентрация» таких «мелочей», можно увидеть, если подробнее рассмотреть переводы из сборника. Вот, например, стихотворение «Письмо брата» — на мой взгляд, одно из лучших у Л. Сулаберидзе. Приведу некоторые строфы в переводе М. Шехтера:

Помню — детство кончалось
наше...
Мне рассказывал Каспий
седой,
Как штормяга сражался с
бесстрашьем,
Как бежал сумасшедшей водой...
Помню — детство кончалось
наше...
Вот раскинулся Каспий широко.
Я на звезды чужие смотрю.
Может, где-то и ты одиноко
С певчей птицей встречаешь зарю.
Ждешь меня и тоскуешь до срока...
Ну, а если нагрянет война, —
Не погаснет звезда дорогая.
Гибель съест во все времена.
Загляну ей в лицо не мигая...
А звезда братским светом полна!
Тот задумчивый свет не умрет,
Коль навеки усну в самом деле...
Улыбаются звезды с высот...
Незаметно и мы повзрослели,
Вот и зрелость стоит у ворот!

Что именно рассказывал герою стихотворения «Каспий седой»? «Как штормяга сражался с бесстрашьем»? (Если бы бесстрашие сражалось со штормом — еще куда ни шло!) Куда «бежал сумасшедшей водой»? И кто — Каспий или штормяга? Что значит «тоскуешь до срока»? Почему «звезда братским светом полна»? Можно «навекі уснуть в самом деле», а можно — так, в шутку?

Со всеми вопросами, которые возникают при чтении, надо обращаться не к автору — он за все это не отвечает! — а к переводчику.

Может быть, переводчик просто имел под рукой неподходящий подстрочник и сам не понял стихотворения? Во всяком случае, неизвестно откуда появились вместо пения вдвоем, в два голоса, — «пелись песни вперевбой», вместо письма — «еще не писались поэмы, что полны, будто морем (!), борьбой», откуда появилось «Ну, а если нагрят война»? Стихотворение написано в 1941 году и выражает чувства человека, которого война разлучила с братом, с близкими. Не поняв этого, нельзя понять и чем вызвано одиночество лирического героя, его тоска по родине.

Мне кажется, что и здесь переводчику не удалось найти удачную форму для передачи оригинала. Ладо Сулаберидзе часто пользуется пятистрочной строфой. В «Письме к брату» при рифмовке **авава** вторая и четвертая рифмы в оригинале очень свободные, приблизительные. Это дает строфе раскованность, естественность, разговорность. М. Шехтер пользуется такой же строфой, но с подчеркнутыми, «железными» рифмами во всех пяти строках. И поэтому стихотворение приобретает традиционно-ориенталистский вид. Здесь мы имеем дело с тем случаем «переводческого буквализма», который обращается в свою противоположность. Вся интонация перевода — выпрежная, торжественная, противоестественная в беседе братьев. Более плодотворным представляется мне вариант, избранный при переводе этого стихотворения Вл. Соколовым. Он отказался от рифмовки второй и четвертой строфы и тем самым сохранил свободу и непринужденность оригинала.

Указу еще на одну частность. При переводе у М. Шехтера исчезла одна строфа. Дело не в количестве

строчек, а в том, что в пропавшей строфе содержалась очень важная для понимания стихотворения в целом «связка». Поэтому сокращение этой строфы непонятно.

И уж совсем необъяснимо то, что произошло со стихотворением «Крымские ночи». У Ладо Сулаберидзе оно состоит из 6 двенадцатистрочных стрóf. $6 \times 12 = 72$. В переводе — 9 четверостиший. $9 \times 4 = 36$. Стихотворение уменьшилось вдвое. Это ли «нормальная убыль»? За счет чего произведено сокращение? В переводе исчезли все конкретные реалии, детали, то есть все то, чем характеризуется творчество поэта, чем оно сильно. И осталось вот что:

...Я те часы ночные
Бессонные любил.
Тогда узнал впервые
Я вдохновенья пыл...
О Крым, и здесь я тоже
В своем родном краю.
Лишь родиной живу я
И лишь о ней пою.

Осталась абстракция, пустая декларация, не подтвержденная поэтической плотью. Приведу здесь и другое стихотворение, переведенное К. Арсеньевой: «Как смеялось деревцо»:

Ночь простиралась меж сухих
плетней.

Я прислонился к деревцу плечом.
Светил светляк, чтоб было мне
видней,

А деревцо шуршало... Но о чем?
Оно всю ночь душистою листвою
Шептало над твоей глухой стеной
И голосом, напоминавшим твой,
Как будто издевалось надо мной.
Светляк мерцал, теряясь в гуще
трав.

Вдали твое мне грезилось лицо...
Ах, о твоей неверности прознав,
Безжалостно смеялось деревцо.

Такие романсы в граммофонной записи были очень популярны, очевидно, лет пятьдесят назад. Теперь подобные стихи, можно сказать, на смех... деревьям. И самое обидное, что все это не имеет ничего общего со стихотворением Л. Сулаберидзе. Может быть, его и не стоило переводить — эта полшутливая вариация народной темы в иноязычном переложении много теряет. Но раз

уж сочли его достойным перевода, надо было постараться сохранить авторские особенности. У Ладо Сулаберидзе никогда не бывает «просто» деревца — это всегда вяз, или ольха, или клен. И это для поэта важно. Поэтому стоит ли произвольно заменять стихотворение, скажем, о чинаре стихотворением о клене? И когда мы читаем о «птице певчей» или «о гуще трав», можем, не заглядывая в оригинал, сказать: это — от произвольного перевода, это противоречит индивидуальности автора.

В заключение хочу подчеркнуть вот что. В сборнике «Надписи на скале» есть и удачно переведенные стихи, такие как «Эпитафия», «Сапоги» (кроме последних двух строк) — перевод С. Поликарпова, «Призрак Гурамишвили» — перевод Д. Голубкова, некоторые другие. Но в целом сборник представляет творческий облик интересного грузинского поэта в искаженном виде.

* * *

Итак, в переводе на русский язык стихов Ладо Сулаберидзе, представленные в сборнике «Надписи на скале», многое потеряли. Они лишились важных характерных черт, почти, как правило, — утерали точность, конкретность, я бы сказал — достоверность. О каждой детали оригинала можно судить отдельно — нужна ли она при переводе, понятна ли русскому читателю. Но систематические, некомпенсированные потери привели к искажениям. Количество перешло в качество. Л. Сулаберидзе может считать себя жертвой порочной переводческой практики, которая почти всех переводимых поэтов нивелирует, приводит «к одному знаменателю».

Можно ли считать указанные мною потери «нормальной убылью»? Убежден, что нет.

Я не имею никаких оснований сомневаться в профессиональной квалификации переводчиков, которые представлены в сборнике. Не имею права подозревать их в неуважении к автору. Нет, все они достаточно хорошо известны и имеют немало заслуг. И потому горькие слова, которые пришлось сказать об

отдельных переводах, следует отнести лишь к установившейся практике переводов с национальных языков, я бы сказал — «массовой переводческой продукции», переводного «потока».

Прежде всего — должна быть решительно искоренена система подготовки переводной книги без автора, когда он получает возможность ознакомиться с уже готовой «продукцией» (я нарочно продолжаю пользоваться подобной терминологией). Автор должен с самого начала сотрудничать с переводчиками, работать вместе с ними над текстом. Я убежден, что настало время, когда каждый перевод должен быть авторизован.

Второе. Пример творческого сотрудничества того же Ладо Сулаберидзе с Владимиром Соколовым доказывает плодотворность подобного содружества: длительная работа над переводами одного поэта дает, как правило, отличные результаты: для того, чтобы перевести одно стихотворение поэта, надо знать все его творчество, круг его образов, его художественное мировоззрение. Без этого не оживет подстрочник — он останется зарифмованным и ритмизированным мертвым скелетом, в который не удалось вдохнуть душу.

И третье. Может быть, стоит подумать о том, чтобы сборники стихов или большие циклы одного поэта переводились целиком одним же поэтом-переводчиком, близким по творческим позициям. Пусть это несет определенный риск. Но зато впоследствии можно будет из различных сборников переводов выбрать действительно лучшие. И тогда, увидев в содержании итогового сборника поэта на другом языке фамилии многих переводчиков, мы будем уверены, что имеем дело с книгой **избранных** переводов. Прекрасный пример этого — книга «Под сенью гор» Симона Чиковани.

Книга «Надписи на скале» Ладо Сулаберидзе не хуже и не лучше многих переводных сборников. Поэтому, мне кажется, следует подумать над недостатками этой книги, потому что они — типичны и распространены.

Во славу отечества!

Наиболее видной фигурой из героев войны 1812 года является генерал Петре Иванович Багратиони, ученик и сподвижник великого русского полководца М. И. Кутузова, командовавший второй сорокатысячной армией, части которой были расположены в Южной Литве. Давать генеральное сражение на границе русское командование считало губительным, поэтому его армия начала свои действия с отступления и взяла направление на Смоленск.

Наполеон со всей своей армией тоже направился к Смоленску, чтобы дать здесь решающее сражение. Но предположения французского императора разбились о твердость защитников города. 4(16) и 5(17) августа у стен Смоленска произошло сражение, в котором особо отличились части багратионовской армии. Благодаря упорному сопротивлению русских в этом бою Наполеон не добился никаких существенных результатов. Несмотря на это, Барклай де Толли, в то время уже командовавший обеими (первой и второй) армиями, неожиданно приказал взорвать пороховые склады и оставить Смоленск. Это было 6(18) августа 1812 года.

Обе армии русских, продолжая отступление, шли к Москве. Вскоре их нагнали французы. Необходимость решающего боя видел и прославленный главнокомандующий Михаил Илларионович Кутузов, который заменил к тому времени Барклая. С именем Кутузова связано окончательное уничтожение наполеоновской армии и, в частности, генеральное сражение, происшедшее 26 августа (7 сентября) 1812 года у села Бородино.

150-летие со дня Бородинского сражения недавно широко отмечала вся наша страна. В связи с этим мы и предлагаем вниманию нашего читателя относящиеся к тому времени некоторые рапорты и письмо героя Бородинского сражения генерала П. Багратиони.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ

генерала от инфантерии
князя Багратиона

Рапорт

Во всеподданнейшем донесении моем от 6-го июля под № 425-м я имел счастье довести до сведения Вашего императорского величества о беспрепятственном прибытии армии в Бобруйск и о времени выступления форсированными маршами к Могилеву, дабы по сему кратчайшему для второй армии тракту предупредить стремление неприятеля через Оршу на Смоленск. Вслед за отправлением вышеупомянутого донесения удостоился я получить высочайший рескрипт Вашего императорского величества чрез флигель-адъютанта князя Волховского, одобрявший мое предприятие, хотя по расчислению времени и расстояния я тогда же видел, что неприятельские войска, находившиеся за Оршею, предупредят меня на самых кратчайший дорогах к Смоленску. Оставалась мне единственная надежда

дойти до Могилева и поспешить наконец в Оршу, дабы, установив верное сношение с первою армиею, отрезать вместе с тем неприятеля, подавшегося к Смоленску, но с прибытием к Дашковке моего авангарда 9-го числа сего месяца получаю известие, что Могилев 8-го числа занят авангардом маршала Даву и что полковник Грессер, находившийся там с тремя батальонами пехоты, принужден был от превосходства неприятельских сил отступать к Дашковке: как храбрый войска Донского полковник Сысов, подоспевший в сие время, дав Грессеру случай присоединиться к отрядам моего авангарда, ударил на таковой же отряд неприятельский, состоявший из третьего полка конных егерей, и, опрокинув оный, обратил в бегство. Преследуя бегущих, взял в плен полковника, восемь обер-офицеров и более двухсот человек рядовых. Но на пяти верстах от Могилева появлением неприятельской пехоты с шестью орудиями был остановлен и отступил на расстояние восьми верст от Могилева. Проникать в намерение неприятеля по его движениям трудно. Но все пленные, по делаемым им расспросам, удостоверяют, что маршал Даву имеет повеление, предупредив нас в Могилеве, держаться в оном чего бы ни стоило.

Достигая со своей стороны цели,.. чтобы преградить путь неприятеля к Смоленску и иметь в тылу второй армии центр России, я должен следовать непременно на Могилев, как ближайший путь, и там только перейти Днепр, ибо все другие на оном переправы устроены весьма на отдаленных дорогах: а что и того важнее, то, оставляя в Могилеве неприятеля, где бы ни переправилась армия, она всегда будет в опасности попасть между двух, как полагать должно, довольно сильных корпусов, идущих из Орши на Смоленск и находящегося в Могилеве. Хотя не знаю достоверно и того, в каких силах неприятель в Могилеве, но в таковых крайностях не остается мне ничего более, как, собрав силы вверенной мне армии и призвав на помощь всевышнего, атаковать их и непременно вытеснить из Могилева. Все меня удостоверяет, что всемогущий и дивный вобранных бог, поборяющий правому, призрит на молитвы народа твоего, государь! и воздаст правоту всемогущему оружию вашего императорского величества. Но есть ли по превосходству непомерному в силах, принужден я буду отступить, в таком случае направления мои и действия приму те, каковые по обстоятельствам тогдашним будут выгоднее.

Всемилолюбивейший государь! Удостойте принять справедливое мое удостоверение, что быстроте маршей второй армии, во все время делаемых по самым песчаным дорогам и болотистым местам с теми тягостями, которые на себе ныне люди имеют, и великий Суворов удивился бы.

Шестьсот верст самого невыгоднейшего местоположения перейдены за 18 дней, имея враз все почти время сильного на плечах неприятеля, всех больших, пленных и обозы, почти на 50 верст делавшие протяжение армии. Могу сказать, что одно непомерное желание в людях драться поддерживает доколе их силы: но лошади не только под артиллерию, обозами, даже и под кавалерию, сколь ни хороши были при начавшихся движениях и сколь не выгодное имели продовольствие, но уже приходят в изнурение — и я начинаю бояться за людей; чтобы не потеряли доброй готовности и того более, чтобы при подобных теперешним маршам не начали изнемогать в силах своих.

Генерал от инфантерии князь Багратион.
июля 10-го дня
1812 г.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ
генерала от инфантерии
князя Багратиона

Р а п о р т

22-го числа сего месяца в десять часов утра я наконец достиг соединения с первой армиею у Смоленска: отколь начну мои действия по взаим-

ным соглашениям с первою армиею и соображениями с намерениями войска неприятельских.

Всемилостивейший государь! порядок и связь, приличные благоустроенному войску, требуют всегда единоначалия, а и более в настоящем времени — и когда дело идет о спасении отечества, я ни в какую меру не отклонюсь от точного повиновения тому, кому благоугодно будет подчинить меня.

Я принял смелость из особенной преданности моей и отечеству и благоговительным ко мне милостям вашего императорского величества удостоверить сим, что никакая личность в настоящем времени не будет стеснять меня. Но польза общая, благо отечества и слава царства вашего будут неизменным законом к смелому повиновению.

Генерал от инфантерии князь Багратион.

июля 23 дня 1812 г.

На подлинном рукою графа Аракчеева отмечено: получено в Або 15 августа.

Милостивый государь граф Алексей Андреевич¹.

Я думаю, что министр уже рапортовал об оставлении неприятелю Смоленска. Больно, грустно, и вся армия в отчаянии, что самое важное место понапрасну бросили. Я и с моей стороны просил лично его убедительнейшим образом; наконец и писал, но ничто его не согласило. Я клянусь Вам моею честью, что Наполеон был в таком мешке, как никогда, и он бы мог потерять половину армии, но не взять Смоленска. Войска наши так дрались и так дерутся, как никогда. Я удержал с 15-ю/т более 35 часов и бил их, но он не хотел остаться и 14-ти часов. Это стыдно и пятно армии нашей, а ему самому, мне кажется, и жить на свете не должно, ежели он доносит, что потеря велика — неправда. Может быть около 4 000 не более, но и того нет. Хотя бы и десять, как быть, война. Но зато неприятель потерял бездну. Наполеон как ни старался и как жестоко ни форсировал и даже давал и обещал большие суммы, награждения начальникам, только ворваться, но везде опрокинуты были. Артиллерия наша, кавалерия моя, истинно так действовали, что неприятель стал в цепь. Что стоило еще оставаться 2 дня. По крайней мере они бы сами ушли; ибо не имели воды напоить людей и лошадей. Он дал слово мне, что не отступит, но вдруг прислал диспозицию, что он в ночь уходит. Таким образом воевать не можно, и мы можем неприятеля скоро привести в Москву. В таком случае не надо медлить государю. Где что есть нового войска, тотчас собирать в Москву, как из Калуги, Тулы, Орла, Нижнего, Твери, где оно только есть; и быть московским в готовности. Я уверен, что Наполеон не пойдет в Москву скоро, ибо он устал, кавалерия его тоже, и продовольствие его не хорошо, но на сие смотреть не должно, а надо спешить непременно готовить людей, по крайней мере сто тысяч, с тем, что, если он приблизится к столице, всем народом на него навалиться, или побить, или у стены отечества лечь. Вот как я сужу: иначе нет способа. Слух носится, что Вы думаете о мире. Чтобы помириться, боже сохрани. После всех пожертвований и после таких сумасбродных отступлений мириться, Вы поставите всю Россию против себя, и всякий из нас за стыд поставит носить мундир. Ежели уж так пошло — надо драться, пока Россия может и пока люди на ногах, ибо война теперь не обыкновенная, а национальная, и надо поддерживать честь свою и всю славу манифеста и приказов данных. Надо командовать одному, а не двум. Ваш министр может хороший по министерству: но генерал не то что плохой, но дрянной, и ему отдали судьбу всего нашего отечества...

Я прямо с ума схожу от досады, простите мне, что дерзко пишу. Видно, тот не любит государя и желает гибели нам всем, кто советует за-

¹ Алексей Андреевич Аракчеев.

ключить мир и командовать армией министру. И так я пишу Вам правду: готовьтесь ополчением. Ибо министр самым мастерским образом ведет в столицу за собой гостя. Большое подозрение подает всей армии гос. флигель-адъютант Вольцоген. Он, говорит, более Наполеона, нежели явил, и он все советует министру. Министр на меня жаловаться не может. Я не токмо учтив против него, но повинуюсь, как капрал, хотя и старее. Это больно, но... повинуюсь. Только жаль государя, что вверяет таким славную армию. Вообразите, что нашу ретирадою мы потеряли людей, от усталости и в госпиталях, более 15/т, а ежели бы наступали, того бы не было. Скажите ради бога, что наша Россия-мать нам скажет, что так страшимся и за что такое доброе и усердное отечество отдаем сволочам и вселяем в каждого поданного ненависть и посрамление. Чего трусить и кого бояться. Я не виноват, что министр пережим, трус, бестолков, медлителен и все имеет худшие качества. Вся армия плачет совершенно и ругает его на смерть. Бедный Пален от грусти в горячке умирает. Кноринг умер, Кира-сирский вчера, ей-богу — беда, и все от досады и грусти с ума сходят.

Спешите прислать нам больше людей на укомплектование. Милицию лучше раздать нам в полки. Их перемешаем. И гораздо лучше, а ежели одних пустить — плохо будет. Давайте и конных; нужна кавалерия. Вот мое чистосердечие. Завтра я буду с армией в Дорогобуже и там останюсь: и первая армия за мною тащится. Не смел оставаться с 90/т у Смоленска. Ох, грустно, больно, никогда мы так обижены и огорчены не были, как теперь. Вся надежда на бога. Я лучше пойду солдатом... воевать, нежели быть главнокомандующим и с Барклаем. Вот Вашему сиятельству всю правду описал, яко старшему министру, а ныне дежурному генералу и всегдашнему доброму приятелю. Прочтите и в камин бросьте.

Подписал князь Багратион.



М. Долинский,
С. Черток

„Для музыки я родился в Тифлисе“

После того, как в кружке был поставлен «Севильский цирюльник» с Шалапиным-Доном Базилио, Корганов 21 марта писал: «В общем свою роль он провел без того балаганного шаржа, которым некоторые исполнители срывают аплодисменты райка». 28 марта он сообщил, что Шалапин примет участие в сценах из водевилей «Кум Мирошник»; 1 апреля: Шалапин с большим успехом пел с выступавшим в кружке малороссийским хором «Ой, у лузи» и другие народные песни; 7 апреля: пение Шалапина, выступившего в трио с Фарина и Михайловской, понравилось публике. А после того, как 19 апреля Шалапин выступил в роли Мельника в 3-ем акте «Русалки», Корганов писал: «Игра, пение последнего не оставляли желать лучшего: соответствующий тембр голоса, прекрасная мимика, обычное злорадство в манере пения, все это способствовало ему представить такого озлобленного сумасшедшего Мельника, какого трудно найти на лучших оперных сценах».

24 апреля в кружке закончился зимний сезон, а летний открылся только 26 июня. В течение этих двух месяцев Шалапин по приглашению пел почти ежедневно, принимая участие во всевозможных благотворительных мероприятиях (например, в пользу бедных учеников тифлиско-

го реального училища), семейных вечерах, представлениях, устраиваемых «Артистическим обществом».

2 июня Шалапин поет в первом же концерте по случаю открытия летнего помещения кружка на Михайловской улице (напротив юнкерского училища, в саду Луизы Мадер). Теперь у него уже прочно установившаяся репутация и множество поклонников и поклонниц. 7 июля, представленный публике как ученик Усатова, он поет на концерте в помещении казенного театра — там, куда еще совсем недавно он умолял непреклонного билетера пропустить его. Газета «Новое обозрение» в рецензии на этот концерт написала, что «поет г. Шалапин недурно и фразирует вполне удовлетворительно. Если г. Шалапин не остановится в своем музыкальном образовании... из него может выработаться весьма недюжинный певец».

20 августа в кружке ставят «Бедность не порок» Островского. Шалапин играет Разлюляева. Но он уже известен в городе как певец и поэтому на афише скрывается под псевдонимом «Ф. И. Федоров». В этой роли он поет русские частушки, и это вызывает особенный восторг публики.

8 сентября 1893 года — бенефис Шалапина в кружке. В тот же день «Тифлисский листок» напечатал заметку о нем: «Молодой бенефициант, как известно, готовится у г. Уса-

Окончание. Начало см. в журнале «Литературная Грузия» № 10.

това для поступления в консерваторию. С его богатыми голосовыми средствами члены «кружка» хорошо знакомы по тем многочисленным концертам, в которых выступал г. Шаляпин. Сегодняшний спектакль дается с исключительной целью помочь молодому человеку, так как он никаких определенных средств к существованию не имеет».

Через два дня после бенефиса «Тифлисский листок» сообщил: «Бенефис молодого певца — артиста Ф. И. Шаляпина, состоявшийся 8 сентября в летнем помещении «музыкального кружка», прошел в общем вполне удовлетворительно. Голос бенефицианта, исполнившего партии Мефистофеля (1-ый акт из оперы «Фауст»), Мельника (3-ий акт из оперы «Русалка»), звучал превосходно, производя на зрителей приятное впечатление своей свежестью и мягкостью тонов при значительной силе и хорошей фразировке. Играет молодой артист неуверенно, порывисто, нервно, но держит себя на сцене достаточно свободно. Видевшие и слышавшие г. Шаляпина зимой были приятно поражены теми успехами, которые сделал он за короткое время. Нет сомнения, что при дальнейшей работе над своим голосом из г. Шаляпина выработается очень и очень недурный исполнитель оперных ролей; для этого он обладает всеми данными: звучным, сильным голосом, музыкальным ухом, хорошими зачатками драматического таланта и, что важнее всего, молодостью. Бенефициант был награжден дружными аплодисментами».

Этим бенефисом окончился первый период жизни Шаляпина в Тифлисе. Теперь он уже знал, что поднялся на первую ступеньку в искусстве. Много лет спустя, когда отмечалось 25-летие его службы на сцене, Федор Иванович вспоминал: «Был голод, был холод, нищета. Было все, о чем теперь и грустно, и радостно вспоминать. Мои испытания научили меня любить жизнь и еще больше привязали к великому искусству. В дни испытаний я все же продолжал лепетать гордую мечту о сцене, и когда я, наконец, попал в колесо артистической деятельности, я долгим и упорным трудом стремился пополнить пропущенное драгоценное время».

В сезон 1893—1894 года главным режиссером Тифлисского казенного театра был В. Н. Любимов. Владимир Николаевич был известен среди актеров как человек, неравнодушный к начинающим талантам, которых он любовно выдвигал. Режиссер обратил внимание на молодого певца.

Шаляпин давно мечтал о театре. Правда, он не знал еще ни одной оперы целиком, но все-таки спросил как-то Усатова, не попробовать ли ему поступить на сцену.

«Отчего же нет? — ответил Дмитрий Андреевич. — Будете и петь и учиться у меня. Надо только выучить несколько опер. «Русалка» и «Фауст» — это ваши кормильцы, так и знайте! Надо еще выучить «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»).

Подготовив с Шаляпиным эти оперы, Усатов пригласил Любимова послушать его и другого своего ученика Агнивцева. Шаляпин пел третий акт «Русалки» специально для режиссера и не понравился ему. Друзья Федора стали уговаривать режиссера еще раз послушать артиста, но уже не специально, как в прошлый раз, а в обычном спектакле кружка. На этот раз Шаляпин произвел впечатление. Казенная опера заключила с ним контракт. Условия: полтора рубля в месяц. Это не много для солиста, другим начинающим платили по 250—300 рублей, но Федор был счастлив: приходил конец нищете.

Шаляпин стал аккуратнo ходить на репетиции и однажды услышал, как дирижер Труффи воскликнул:

— Какой кароши колос у этот молодой мальшик!

...Тифлисская казенная опера (теперь театр оперы и балета имени З. Палиашвили) помещалась в нижней части города — Инженерном саду, в старом здании над самой Курой. Она существовала еще с 1851 года и была одной из старейших в России провинциальных опер. Это не случайно. Грузия издавна знала и сольное пение, и хоровое, и многоголосое во всем богатстве его образов и настроений. Наряду с сольной инструментальной музыкой ей была известна музыка ансамблевая. И хотя труппа играла в невзрачном неудобном доме, переделанном из

караван-сарая, театр всегда был переполнен: темпераментная публика любила оперу с ее красивыми ариями и хорами, яркими сценами, пышными декорациями.

В первые десятилетия в театре шли главным образом итальянские оперы — Беллини, Россини, Доницетти, Верди. С середины восьмидесятых годов в его репертуаре стало появляться все больше русских опер. Ко времени приезда в Тифлис Шаляпина казенный театр занимал одно из первых мест среди провинциальных русских опер. В нем дирижировали М. М. Ипполитов-Иванов и И. А. Труффи. Сюда приезжали на гастроли выдающиеся певцы, стремившиеся попасть в Тифлис с его восторженной, чуткой и музыкальной публикой.

Труппа театра была в основном молодежной. Оперное искусство в Тифлисе было столь популярным, что молодые люди стремились попасть в оперу подобно тому, как теперь стремятся стать артистами кино. Устроиться на постоянную работу в театр было необыкновенно трудно, хотя в ход шли любые средства. И факт приема в труппу любителя, человека без определенного положения и связей, достаточно красноречив. Именно в Тифлисском казенном театре начал Шаляпин свой путь оперного певца.

...Сезон открылся 28 сентября. Шла «Аида». Шаляпину была поручена партия Рамфиса. В «Тифлисском листке» появился благожелательный отклик. «...Совершенно неожиданно весьма сносными исполнителями оказались новички оперной сцены г. Агнивцев (Амонасро) и г. Шаляпин (Рамфис), ученики г. Усатова, известные нам уже по концертам. Оба они пели и держались на сцене весьма прилично, хотя, конечно, нельзя требовать от них полного знакомства со сценой и спокойного владения своими голосовыми средствами и игрой». На следующий день он пел Мефистофеля.

Друг Шаляпина, будущий выдающийся драматический тенор А. М. Давыдов, тоже начинавший в тот сезон свою карьеру на сцене тифлисской оперы и познакомившийся на одной из первых репетиций с Федором Ивановичем, позже вспоминал: «С первого взгляда этот худой, длинный, как палка, юноша лет двадцати, со светлыми глазами выглядел довольно не-

презентабельно. Пиджак на нем сидел словно с чужого плеча. Общее впечатление было неважное. Но, когда он запел, тембр его голоса сразу захватил меня. Было что-то особенно утверждающее, волнуемое в звуках его голоса. Правда, его голос не искрился все время полноценным блеском, как это было впоследствии, но отдельные фразы у него были блестящи по своей искренности и свежести».

В первые недели работы Федора на профессиональной сцене Корганов, который так часто писал о Шаляпине-ученике, игнорировал Шаляпина-профессионала, почти не упоминая его имени в рецензиях. Дело было не только в том, что начало сезона прошло не особенно ярко для артиста. Он допускал ошибки, которые Корганов, борющийся с дилетантизмом на сцене, мог простить участнику любительского кружка, но не артисту-профессионалу. На премьере «Аиды» Шаляпин-Рамфис во время шествия жрецов в сцене суда над Радамесом заметил, что у Америкс шлейф платья зацепился за гвоздь. Спасая платье, Федор нагнулся, приподнял шлейф и отцепил его. Эту ошибку критик в рецензии подчеркнул. Строго отнесся он и к неудачному смеху Шаляпина в серенаде Мефистофеля, показавшемуся Корганову слишком резким и неестественным. Чувствуя и понимая, что перед ним редкий талант, от которого многого можно ждать и с которого поэтому строго надо требовать, он был непримирим к его промахам. Любопытно, что впервые после начала сезона он упомянул Шаляпина в рецензии не в связи с его выступлением, а в связи с исполнением актером Сагурским роли Мельника. 8 октября Корганов, видевший Шаляпина-Мельника в музыкальном кружке, написал в «Кавказе»: «Тем не менее в роли Мельника мы предпочли бы видеть г. Шаляпина, игра и пение которого в этой партии производят более сильное впечатление, чем даже многих известных выдающихся «мельников», и которому, кстати, следовало бы показать себя в этой роли, прежде чем выступать Мефистофелем, жрецом Изиды и т. п.».

Но целиком Мельника Шаляпину удалось спеть только в конце сезона, а до этого он произвел громадное

впечатление удивительно ярким исполнением партии Тонио в «Паяцах» Леонкавалло, впервые поставленных в Тифлисе. Премьера состоялась 12 октября. Шаляпин отмечал в автобиографии: «Роль Тонио легко укладывалась в диапазоне моего голоса,¹ и я довольно удачно играл ее. Опера ставилась часто и шла с неизменным успехом». А Корганов отметил тогда «пролог, прекрасно проведенный г. Шаляпиным».

20 октября в один вечер шли «Паяцы» и третий акт «Аиды». Шаляпин был занят в обоих спектаклях (Тонио и Рамфис). Корганов, категорически возражая против такой эксплуатации певцов, которая может отразиться на их голосе, отметил все же, что «артисты (Агнивцев и Шаляпин) с честью вышли из этого нелегкого испытания и доказали еще раз свою талантливость, музыкальность и самообладание». Еще через день он отметил «громадный успех» Шаляпина-Гремина: «игра, манера, пение — все это было естественно, выразительно, художественно и вызвало шумное одобрение публики».

Для того, чтобы понять, насколько тонким и пронизательным был в своих критических замечках В. Корганов, как важны были для творчества Шаляпина забота и внимание его первого рецензента, нужно привести мнение другого тифлисского критика Ф. Комиссаржевского, который за ошибки и неуверенностью певца, за его неопытностью так и не увидел таланта. 5 октября 1893 года он писал в «Новом обозрении»: «г. Шаляпин не в меру смелый и развязный. Для начинающего артиста, не выяснившего себе правильного артистического назначения, такие качества не симпатичны, и на основании их предугадать будущность молодого артиста не только трудно, но и невозможно... г. Шаляпин не без способностей, но петь и играть совсем не умеет».

Корганов же, отмечая ошибки и промахи молодого артиста, стремился всячески помочь ему. 26 октября он пишет: «г. Шаляпин по обыкновению с чертовской смелостью провел партию Мефистофеля и по требованию публики повторил серенаду 3-его акта». 11 ноября снова отмечая, что

Шаляпину-Тонио «замечательно удается сцена пролога», Корганов пишет, что он «вызвал восторг своей публички и мог бы своей смелой и красивой игрой и красивым пением привести в восторг самого автора». 17 ноября состоялось первое представление «Гугенотов». Корганов недоволен: «Г-на Шаляпина (Сен-Ври) в этот вечер не выручала его замечательная музыкальность: резкие переходы, слишком открытые ноты рядом с мягкими, закрытыми, производили неприятное впечатление». Зато 21 декабря, после «Аиды» он опять хвалит: «Хорош был г. Шаляпин в роли египетского царя; в этом артисте много общего с г. Давыдовым, но, к счастью, нет той опереточной манеры, которая неуместна на оперной сцене и производит здесь неприятное впечатление».

Не раз ругая начинающего певца за рутину, за следование дурным оперным традициям, за то, что он не решается по-своему трактовать те или иные образы, Корганов все же не упускает случая отметить музыкальность артиста, его голос, его сценическое дарование: «Два года тому назад г. Шаляпин приехал в Тифлис хористом опереточной труппы, и тогда же на его выдающийся голос обратил внимание известный преподаватель пения, бывший артист императорской московской оперы Д. А. Усатов. В краткий срок своего учения у почтенного педагога г. Шаляпин выработался в выдающегося артиста. Природа, давшая ему талант, дополнила дело теории, и в общем получилось то, чего никто из тифлисцев ожидать не мог».

Успехи Шаляпина, его популярность у слушателей привели к тому, что скоро почти весь басовый репертуар оперы лег на его плечи, и неожиданно для себя он занял в опере первенствующее положение. Еще никогда в жизни он не работал так много. При этом Федор продолжал ходить к Усатову и выслушивал то его похвалы, то резкую критику.

(«Я всегда внимательно и с любовью слушал поучения этого человека, который, выгнанный из грязи, бескорыстно отдавал мне свой труд, свою энергию и знания».)

В театре артист был занят теперь чуть не ежедневно. «Я готовил роли, как блины пек, — рассказывал он. — Бывало, сегодня назначают роль, а

¹ Партию Тонио обычно поют драматические баритоны.

завтра ее надо играть». Конечно, если бы у Шаляпина раньше не выработалась привычка к сцене, такая напряженная работа могла оказаться пагубной для него. Вот характерная заметка из «Тифлисского листка» от 21 октября 1893 года: «Второе представление «Риголетто», состоявшееся во вторник, 19 октября, было несравненно удачнее первого... г. Шаляпин хорошо спел партию Монтероне. По отношению к этому только что начинающему артисту нельзя не заметить, что постоянное участие его чуть ли не в каждой опере и в каждом представлении едва ли благоприятно повлияет на его голосовые средства и дальнейшее музыкальное развитие. Такая нерасчетливая растрата даже молодых, совсем еще свежих артистических сил, спешность, а вследствие этого — неизбежная небрежность в изучении все новых и новых партий и недостаточность отделки этих последних, — все это может очень плохо отозваться на юном артисте, только что вступающем на оперно-сценическое поприще».

К счастью, как писал он: «... я слишком любил свое дело, чтобы относиться к нему легкомысленно. И хотя у меня не было времени изучать новые роли, я все-таки учил их на ходу, по ночам. Каждая роль брала меня за душу». Ночное пение не всегда нравилось соседям и хозяевам, и как-то, придя вечером домой, артист увидел свои вещи, сложенными хозяйкой у порога дома.

Конец сезона прошел хорошо. 13 февраля состоялась премьера «Севильского цирюльника». Тифлисский листок написал: «Опера прошла в общем гладко, а г.г. Сангурский (Бартоло) и в особенности Шаляпин (Базлио) были положительно хороши». 18 февраля Корганов отметил в «Кавказе» в связи с исполнением певцом роли Дона-Карлоса, что «...красивым, выразительным, прочувственным исполнением этой арии г. Шаляпин доставил высокое наслаждение». В тот же день в «Новом обозрении» появилась рецензия на «Фра Дьявола»: «Очень комичен был г. Шаляпин, исполнивший нелегкую в сценическом отношении роль туриста-англичанина».

4 февраля Шаляпину дали необузданный в договоре бенефис за то, что он «оказал делу больше услуг, чем ожидали», как выразился управ-

ляющий труппой. Бенефис этот чуть было не сорвался. Накануне умер комендант Тифлиса генерал А. А. Эрнст, который по своей должности являлся как бы почетным директором казенного театра. Но спектакль все же не отменили. В этот день «Кавказ» сообщил: «Сегодня состоится бенефис г. Шаляпина, к которому наша публика всегда относилась симпатично, как в ученических спектаклях нашего музыкального общества и г. Усатова, так и в спектаклях казенного театра. Бенефициант выступит в роли Тонио («Паяцы») и Мефистофеля («Фауст»).

Разыскивая материалы о жизни Шаляпина в Грузии, мы обратились к сыну артиста Федору Федоровичу, живущему в Риме. Он ответил: «Я кое-что нашел в Италии в нашем старом доме в Монзе и таким образом спас этот малый материал, которому грозила гибель, ибо дом этот пришел в полное разрушение и был продан на слом. Это готовое клише двух редчайших фотографий отца в ранние годы его начинания как актера. Это будет мой первый вклад в ваше трудное дело».

Оба снимка запечатлели Шаляпина в роли Мефистофеля. На одном из них его рукой было написано: «1892-й год. Тифлис. Зима. Кружок муз. Арцруни... Учение у Усатова — ученич. спектакль. Снимался в фотографии Клара». На другом: «Неудачно!!!»

Публики собралось очень много и артист имел большой успех. Ему подарили золотые часы, серебряный кубок, и он получил около трехсот рублей от сбора. Но самым дорогим оказался подарок учителя: со старшей, когда-то ему самому преподнесенной лентой, он вытравил слово «Усатову», написал «Шаляпину» и преподнес ее вместе с лавровым венком. Корганов написал после бенефиса: «Из всех певцов, учившихся вообще в Тифлисе и, в частности, в нашем музыкальном училище, г. Шаляпин бесспорно самый талантливый; всего пять месяцев, как он на сцене в качестве исполнителя первых ролей, и в продолжение этого времени успел приобрести симпатии нашей публики своим всегда удачным исполнением самых разнообразных партий; эти симпатии публики выразились в бенефисе многими ценными подношениями». А в одну из столич-

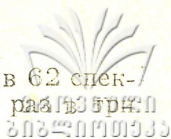
ных газет, корреспондентом которой в Тифлисе был Корганов, он сообщил: «Лучший из басов тифлисской оперы г. Шаляпин. Это артист-самородок, вышедший, что называется, «из толпы»... Если он не остановится на пути своего артистического развития, увлекшись легко доставшимися лаврами, то в недалеком будущем он будет занимать одно из первых мест в ряду выдающихся артистов».

6 февраля отчет о бенефисе дал «Тифлисский листок»: «Исполняя много раз раньше те же роли, г. Шаляпин и на этот раз доказал свою музыкальность, мощь голоса и умение владеть им. Игра его, как всегда, была безукоризненна. Артист был в голосе, и многие выдающиеся партии по требованию публики были им повторены».

С 28 сентября 1893 года по 23 февраля 1894 года — за пять меся-

цев — Шаляпин выступал в 62 спектаклях, то есть чаще, чем раз в три дня.

Но Шаляпин, разумеется, был в то время еще весьма далек от совер-



Шаляпин-Мefистофель. Тифлисский музыкальный кружок. Собственноручная надпись Шаляпина: «Неудачно!!!».



Шаляпин-Мefистофель. Тифлисский музыкальный кружок. Собственноручная надпись Шаляпина: «1892-й год. Тифлис. Зима. кружок муз. Арцруни. Учение у Усатова — ученич. спектакль. Снимался в фотогр. Клара».

шения. Оперную революцию он произвел много позже. Тогда же он был просто талантливым учеником.

Сезон в опере окончился 23 февраля. В связи с этим через два дня «Кавказ» напечатал большую статью Корганова под названием «Наша опера», в которой, в частности, он подводил итог деятельности Шаляпина. Говоря о том, что «в силу сложившихся обстоятельств» Шаляпин (а также Агнивцев) прямо с ученической скамьи пришел в оперу для исполнения ведущих партий, В. Корганов писал: «Залогом их способностей может служить успех почти во всех ролях, успех, которого не имели другие настоящие артисты; первым бисированным номером в сезоне была серенада Мefистофеля в исполнении Шаляпина». Корганов отмечал, что Усатов не мог дать Шаляпину законченного образования, так как учеников

у него было много и к тому же Шаляпин учился у него недолго. Он призывал Шаляпина не поживать на лаврах, думать об усовершенствовании, «о столичных сценах, где можно найти образцовое исполнение и куда мечтает попасть каждый истинный артист, как солдат в генералы».

После окончания сезона Шаляпин остался в Тифлисе еще почти на три месяца, выступая в садах и различных благотворительных концертах.

В марте вместе с Перестиани Федор Иванович совершил путешествие по Грузии. Он любовался заснеженными вершинами, часами мог слушать шум горных рек, бродил по крутым тропам. Позже, выступая в частной опере Мамонтова в Москве, Шаляпин, игравший роль Ивана Грозного в «Псковитянке», рассказывал товарищам, что одетая на нем очень древняя, длинная и тяжелая кольчуга из кованого серебра, была куплена во время этой поездки у старшины хевсуров. А еще позже, готовя партию Демона, Федор Иванович говорил, что ему помогли воспоминания о могучих горных вершинах и темных скалистых громадах Грузии. В батумском городском саду, недалеко от грота, друзья посадили два дерева. (Когда несколько лет назад мы были у Ивана Николаевича Перестиани, он рассказывал, что эти деревья растут и сейчас.)

В этой поездке Шаляпин признался своему другу, что совет Корганова запал ему в душу, что он хочет дерзнуть и поехать в одну из столиц. Там же, в Батуми, Шаляпин встретил Семенова-Самарского. Тот спросил:

— Теперь бы пора махнуть в консерваторию?

— Я сам об этом мечтаю, — ответил Федор.

Вернувшись в Тифлис, Шаляпин дал прощальные концерты. В цирке, а потом в банковском театре, он пел по-итальянски с большим хором молитву из оперы Россини «Моисей». Дирижировал концертом И. А. Труффи. Последнее выступление состоялось 7 мая.

«Успешный сезон в Тифлисской опере меня весьма окрылил», — писал Шаляпин. Мечта о поездке в Москву приобрела определенный практический смысл. Усатов решительно одобрил намерение своего ученика. Он дал ему несколько ре-

комендательных писем. В середине мая Шаляпин и его друг тенор Павел Агнивцев, распрощавшись с друзьями, отправились в Москву.

Успех Шаляпина в Тифлисе обратил на себя внимание театральной Москвы и Петербурга. Иван Николаевич Перестиани в своих воспоминаниях пишет: «Грузия — музыкальная страна. Музыкальный слух народа чрезвычайно, и вся страна поет. Отсюда понятна требовательность к певцам. Успех оперного артиста в Грузии всегда являлся «маркой» для него, равно как и для других музыкальных исполнителей. Это знала вся тогдашняя Россия. И то, что первые аплодисменты Шаляпину прогремели именно здесь, не случайность».

В августе девяносто четвертого года в Петербурге было организовано товарищество, которое сняло под оперные спектакли Панаевский театр. Во главе товарищества стоял И. А. Труффи, который приехал в Петербург вслед за Шаляпиным. Старый тифлисский знакомый был единственным человеком в столице, который хорошо знал молодого артиста и верил в его большое будущее. Он и помог Шаляпину поступить в театр. Сезон начался 18 сентября «Фаустом», в котором Федор Иванович пел Мефистофеля. Здесь же, в Панаевском театре, впервые услышал его Савва Иванович Мамонтов, человек, о котором Шаляпин так много слышал от Труффи еще в Тифлисе и знакомство с которым сыграло огромную роль в его жизни. В Панаевском же театре Шаляпин познакомился с художником К. А. Коровиным. Константин Алексеевич в своих воспоминаниях рассказывает об этой первой встрече с «молодым человеком очень высокого роста, блондином со светлыми ресницами и серыми глазами... Молодой человек был озабочен и жаловался, что в Панаевском театре платят меньше, чем в Тифлисе.

— Пошло-ка я их к черту и уеду в Тифлис. Что в Петербурге?... А там тепло, шашлыки, майдан. Бани как-кие. И Усатов... Я ведь здесь никого не знаю».

Шаляпин с удовольствием рассказывал о своей жизни в Тифлисе, о друзьях и приключениях, о работе в опере. «Этот город оказался для меня чудодейственным», — любил повторять он. В Тифлис от него нередко приходили письма и фотографии. Он

подробно рассказывал о своих успехах и неудачах, писал, что хочет приехать и при первой же возможности делает это.

Особенно часто приходили от него письма В. Д. Корганову, переписка с которым началась сразу после отъезда из Грузии. Шалапин обстоятельно осведомлял его о первых своих шагах на частной и казенной сценах, о сыгранных им ролях. К сожалению, большинство из этих писем, представляющих неоценимый материал для изучения жизни и творчества Шалапина, до сих пор не найдено. Нам удалось обнаружить только два: одно целиком и второе — в небольшом отрывке. Но прежде, чем привести их, необходимы некоторые пояснения.

В 1895 году Шалапин был принят в Мариинский театр и 5 апреля состоялся его дебют — он пел Мефистофеля в «Фаусте». Выступать ему давали на первых порах немного — он был на положении молодого певца, а в театре были свои знаменитые басы — Ф. Стравинский, К. Серебряков, М. Карякин, А. Чернов и другие, которым отдавалось предпочтение. Шалапину же, как новичку, оставалось лишь изредка дублировать корифеев. В сезоне 1895—1896 годов Шалапин выступил в 9 операх и спел в 23 спектаклях (в три раза меньше, чем в Тифлисе!). Корганов в своих письмах настойчиво советовал как можно скорее выступить на императорской сцене в ролях Мельника и Мефистофеля, которыми, по его мнению, молодой артист мог сразу покорить публику. Но за весь сезон Шалапин только дважды исполнил партию Мефистофеля и лишь один раз — Мельника, причем в самом последнем спектакле сезона — 30 апреля. Поэтому Шалапин и писал Корганову: «На Мариинской сцене мне дают лишь второстепенные роли, а просьбу мою о роли Мельника и слушать не хотят; ведь на этой сцене такие знаменитые исполнители Мельника, как Мельников, Стравинский».

В самом начале 1896 года Корганов был в Петербурге, но увидеться с Шалапиным ему не удалось. А возвратясь в Тифлис, он получил от него письмо:

«25 января 1896 года.

Я не знаю, право, как мне благодарить Вас, дорогой Василий Давидович, за Вашу дорогую память обо

мне. Я получил Вашу карточку, но, увы, до сих пор никак не мог ответить на дорожное приветствие, а впрочем, «бог вас благословит, а я не виноват», — говорит городничий у Гоголя; этой же фразой отвечаю теперь и я. В то время, когда мне принесли Вашу карточку, я уже лежал без памяти в кровати и дня через три меня препроводили в госпиталь дворцового ведомства, откуда я в настоящую минуту и сточу Вам благодарственное послание. Вы, конечно, пожелаете узнать, что стряслось — так вот послушайте: на праздниках масса маскарадов, балов и проч., и вот, шляясь по этим проклятым балам и маскарадам, я порядочно простудился и получил инфлюэнцу; все бы ничего, да эта проклятая инфлюэнца осложнилась... (ишь ты, куда хватила) И... да... Сделалось воспаление и довольно острое. Показывали, конечно, дохтурам, но эти самые «дохтура» дали ужасно разноречивые отзывы, один нашел у меня тиф, другой — воспаление брюшины, третий — дифтерит кишок, а четвертый, так сказал, что у меня беременность или обермененность в желудке. Наконец, в госпитале вполне определили болезнь и начали лечить. Я был в положении довольно опасном, доктора ждали нагноений и может быть гангрены, но слава богу, прошло благополучно и теперь выздоравливаю. Недели через полторы буду совсем здоров и поеду концерттировать с Фигнером¹, но он, чтоб ему пусто было, по каким-то соображениям поездку отложил (должно быть, дела по поводу контракта на будущее время с дирекцией, так как в этом году у него срок контракта кончается). Жизнь в Питере течет своим чередом по-столычному: шум, гам, руготня и проч. Поругивают и меня, и здорово поругивают, но я не унываю и летом во что бы то ни стало хочу ехать за границу (в Италию и Францию в особенности). А ведь, право, странно, публика рукоплещет, а критики лают; положим, они правы с той точки зрения, на которой они находятся, и, признаться, мне хотя в глубине души неприятна ругань, а с другой стороны, когда сознаешь, что к тебе предъ-

¹ Фигнер Николай Николаевич (1857—1918), певец, лирико-драматический тенор. С 1887 г. артист Мариинского театра. Впервые Шалапин слышал его в Тифлисе в 1892 году.

являются требования такие же, как и Стравинскому, Мельникову и друг., так это очень и очень приятно, хотя, конечно, еще до Мельникова далеко. А все-таки добьюсь, во что бы то ни стало, а добьюсь. Врут! Будут и хвалить, не может быть, чтобы только ругали, ведь и самого Мельникова, когда он начинал, ругали, он сам мне говорил об этом. Стравинский тоже сообщил, что, мол, дескать, было время, когда в истерике валялся, а Палачек¹ говорит, что десять лет не то, что ругать или хвалить, вообще ничего не писали. Да это еще хуже... Итак, дорогой Василий Давидович, буду работать, пока хватит сил. Ну, как у вас опера, артисты? У нас недавно шел Вертер, говорят, отвратительно. Фигнера не удовлетворили желанья публики, должен был петь там и я, да болезнь помешала — черт знает, у нас какой-то застой в репертуаре, только и жарят «Евгения Онегина», и в этом сезоне поставили только две новые оперы: Корсакова «Ночь рождения» и вот Вертера, да еще, впрочем, «Орестею». Весенним сезоном, должно быть, буду петь Юдифь² и Мефистофеля Бойто³. Итак, дорогой мой Василий Давидович, летом, или, вернее весной, увидимся; я поеду за границу по Черному морю; это я делаю специально, чтобы заехать в Тифлис, ужасно соскучился, а потому, значит, и до скорого свидания. Жму крепко вашу руку и шлю сердечный привет вашей супруге.

С искренними пожеланиями великих благ земных и, если нужно, небесных. Остаюсь искренно преданный Ф. Шаляпин.

В «Тайном браке» не снимался, а на днях получу карточки «Вертрама» из «Роберта Дьявола», так пришло. Эти карточки очень удачны».

Приехать в Тифлис летом Шаляпину не удалось: он был приглашен

в Нижний Новгород в оперную антрепризу Мамонтова, организованную на время Всероссийской выставки 1896 года.

8

Весной 1900 года дирекция казенного театра пригласила Шаляпина на гастроли. 9 марта он дал сольный концерт в Москве, в котором аккомпанировал Рахманинов, а на следующий день уже выехал в Тифлис.

Популярность Шаляпина была необычайной. И тифлисцы, знавшие его ранее, могли убедиться, что, хотя по дороге Шаляпин простудился и ему пришлось петь еще не совсем оправившись после болезни, голос его еще больше окреп, звук получил удивительную полноту и мягкость, дикция достигла совершенства: со сцены было слышно каждое произносимое слово. И, главное, это был революционер в искусстве, смело ломавший оперные каноны. До него в опере от певца требовался только голос. Теперь певец Шаляпин играл так, что любой артист драмы мог позавидовать ему. Им уже была создана впечатляющая галерея сценических образов — неповторимых и глубоко человеческих.

...Гастроли проходили в новом помещении казенного театра, выстроенном на Головинском проспекте в 1896 году.

Еще 25 февраля газета «Кавказ» отметила большое оживление у театральной кассы: проводилась предварительная запись желающих купить билеты на спектакли с участием Шаляпина. А 11 марта «Кавказ» сообщил, что все билеты проданы. «С понятным нетерпением ожидала тифлисская публика, буквально переполнившая весь театр, — рассказывалось в «Тифлисском листке», — появления г. Шаляпина: ведь здесь, в Тифлисе, мы были свидетелями первых робких сценических шагов артиста, приобретенного за истекшие семь лет прочно установившуюся репутацию одного из очень немногочисленного круга «больших» артистов, крупного таланта-самородка, развившегося, благодаря неустанному труду, в нечто, совершенно выделяющееся из уровня».

Это было написано на следующий день после того, как в пятницу, 17 марта, Шаляпин начал гастроли с выступления в роли Мефистофеля в

¹ Палачек Иосиф Иванович (1842—1915), оперный певец, бас. С 1870 г. режиссер Мариинского театра. Профессор петербургской консерватории.

² Партию Олоферна в опере Серова «Юдифь» Шаляпин впервые исполнил 23 ноября 1898 г. в русской частной опере Мамонтова.

³ Партию Мефистофеля в одноименной опере Бойто Шаляпин впервые исполнил 16 марта 1901 г. в миланском театре «Ла Скала».



опере «Фауст». 21 марта он пел Бориса Годунова — партию, которую в его исполнении тифлисцы еще не слышали (впервые он выступил в этой роли 7 декабря 1898 года на сцене Русской частной оперы). Музыка Мусоргского в те годы еще не была особенно популярна в Грузии, и его оперы редко шли в Тифлисском казенном театре. Шаляпин-Годунов бесспорно помог тифлисским слушателям по-настоящему понять и полюбить Мусоргского. В рецензии «Тифлисского листка» говорилось: «Спектакль с участием Ф. И. Шаляпина... привлек в театр массу публики, занявшей приставные места и проходы. Исполнением роли Бориса Годунова из оперы Мусоргского того же названия талантливый артист положительно привлек в восхищение публику: «Какой художник!», «Какой большой артист!», «Как щедро одарен талантом!» — восхищалась она, делясь впечатлениями в антрактах со своими знакомыми. Успех г. Шаляпина имел колоссальный. Нечего, конечно, и говорить, что высокоталантливому артисту вызывали несчетное число раз, поднесли ему венки из лавров, а из лож осыпали бутоньерками».

Следующим спектаклем была «Русалка». Мельник — одна из самых ранних ролей Шаляпина. Впервые он подготовил ее с Усатовым. Но тогда артист не сумел передать всей трагедийности этого образа. Теперь были обдуманы каждое слово, каждая нота. По мнению «Тифлисского листка», «...«Русалка» Даргомыжского дала возможность талантливому нашему гастролеру г. Шаляпину выказать свое сценическое дарование с новой стороны, в бытовой роли». Газета писала, что Шаляпин «тонкий художник, умеющий придать своей роли яркие черты типичности». Заметка кончалась так: «Нечего и говорить, что театр был переполнен и гастролер удостоился шумных оваций. Ему преподнесли серебряный венок».

22 марта Шаляпин должен был петь в «Князе Игоре» Бородин и в «Моцарте и Сальери» Римского-Корсакова. Но Федор Иванович снова заболел и не смог участвовать в спектаклях. Только через день он спел Сальери и партию варяжского гостя в третьем акте «Садко» Римского-Корсакова.

В опере «Моцарт и Сальери» 25 ноября 1898 года, тифлисцы его тоже не слышали. Да и вообще опера эта не шла до того времени в Тифлисе. Как и оперы Мусоргского, она представляла новую школу в русской музыке. В ней певец должен быть слит с драматическим актером. И Шаляпин с необычайной глубиной и силой показал психологическую трагедию этого пушкинского образа. Корчаков писал в «Кавказе»: «Партия Сальери требует от исполнителя большого художника, кем и предстал перед нами г. Шаляпин в полной силе своего яркого таланта. Начиная с грима и кончая самыми мелкими деталями игры, тип был олицетворен великолепно, и все исполнение его произвело сильное впечатление на публику, вызвавшую по окончании спектакля артиста множество раз». «Тифлисский листок» добавлял: «Шаляпин, выступивший в партии Сальери, сумел вдохнуть жизнь в музыку оперы и, несмотря на заметное нездоровье, произвел чрезвычайно сильное впечатление исполнением партии. Выдающемуся дарованию этого красивого артиста, по-видимому, наиболее сродни именно такие речитативно-декламационные партии... А об игре Шаляпина и его умении создавать с помощью грима и мимики типичные фигуры распространяться не приходится».

Еще до приезда артиста (11 марта) «Кавказ» писал: «Нет сомнения, что ввиду особого интереса видеть г. Шаляпина в роли Мефистофеля, где, по отзывам прессы, он гениален, дирекция театра повторит эту оперу». Вскоре было объявлено, что в субботу 25 марта состоится бенефис Шаляпина — будет поставлен «Фауст». Желающих понасть в театр было гораздо больше, чем мест в зале. «За все время существования нового Казенного театра, — констатировал «Тифлисский листок», — в нем ни разу не было такого скопления публики: были переполнены буквально все проходы... Дирекция хотела предоставить возможность как можно большему количеству лиц насладиться бенефисом».

...Мефистофель — самая ранняя роль Шаляпина, в которой он выступал еще в Уфе, у своего первого ан-

трепренера Семенова-Самарского. По рассказу Перестиани, Шалапин по приезду в Тифлис говорил ему, что мечтает «сыграть дьявола». Здесь артист начал петь Мефистофеля в кружке и потом — в спектаклях казенного театра.

...На следующий день после бенефиса Федор Иванович должен был уезжать. Однако отъезд пришлось на несколько дней отложить: 26 марта умер отец Корганова Давид Зурабович, и Шалапин остался на похороны.

10

С тех пор в течение десяти лет Шалапину не удавалось приехать в Тифлис. В 1907 году он выступал в Италии вместе с Вано Сараджишвили, талант которого высоко ценил. Шалапин просил передать друзьям в Грузии, что сердце его всегда принадлежит «чудодейственному городу» — Тифлису — и что при первой возможности он приедет.

Осенью 1910 года Шалапин гастролировал на юге России и 18 сентября по Военно-Грузинской дороге приехал в Тифлис. Его сопровождали скрипач Н. К. Аверьино и пианист Ф. Ф. Кенеман.

Музыкальный Тифлис с нетерпением ждал Шалапина. За много дней до концерта длинные очереди выстраивались за билетами.

Некоторые из вышедших утром 19 сентября газет через всю полосу поместили объявление: «Сегодня концерт Ф. И. Шалапина».

На этот концерт попал, находившийся в ту пору в Грузии начинающий литератор, ныне известный советский писатель Л. В. Никулин. Лев Вениаминович вспоминает об этом концерте в своей книге о Шалапине:

«Впервые в жизни я услышал Шалапина в Тифлисе в 1910 году. Он дал тогда единственный концерт в здании театра, который носит теперь имя Руставели. Перед этим концертом повторилось все, что бывало перед выступлениями Шалапина: ажиотаж театральных барышников, городские у театральной кассы и молодежь, сутки простоявшая на улице, чтобы получить билет. В театре был «весь Тифлис» — военные, чиновники, богатейшие люди города, а в райке, на галерее — учащаяся молодежь. Шалапина встретил ровный, не

очень сильный, но длительный гул аплодисментов. Он ждал, пока это кончится. Он стоял, слегка раздвинув ноги, откинув голову. В руке у него был маленький лорнет, в другой — развернутый лист ноты. Он начал с «Вакхической песни» Пушкина (на музыку Глазунова):

Что смолкнул веселения глас?
Раздайтесь, вакхальны припевы!

Пушкинский стих, мысль Пушкина нельзя было передать иначе, чем передавал их великий артист.

В 1910 году в Тифлисе Шалапин был, как говорится, в великолепной форме, и сейчас, закрыв глаза, я живо представляю себе эту богатырскую фигуру на сцене, соразмерное богатырское сложение, округлую мягкость его лица. Взгляд то огненный и яростный, то открытый и ясный, то лукавый и томный, — точно разные люди пели «Менестреля» и «Блоху» или «Персидскую песню» Рубинштейна с ее жаркой истомой и сладчайшим пианиссимо.

Вероятно, — вспоминает Л. Никулин, — Шалапин в этот вечер был в хорошем расположении, он сам радовался своему успеху, его радовал темперамент тифлисской публики. Случалось мне слышать его в Петрограде, в Москве, но, мне кажется, ничего равного успеху в Тифлисе я не видел. Это не был «обычный» шалапинский успех, обыкновенный концерт. В Тифлисе все было необыкновенно, никогда не приходилось слышать, чтобы Шалапин так много пел, как в тот давно ушедший в прошлое вечер, и успех все возрастал, и был нескончаемым. Шалапина не отпустили со сцены, и он схитрил — стал декламировать стихи. Читал он «Кузнеца» Скитальца, читал не лучше драматических артистов, и только в самом конце стихотворения: «...и в железные сердца — бей!» в слове «бей» прозвучала металлическая нота шалапинской силы и вызвала бурю восторга.

...Мы долго не уходили из театрального зала, потом погасили свет и пришлось уйти. Ночь была холодная, дул ветер, но не хотелось возвращаться домой после этого праздника».

В антракте между двумя отделениями Шалапину преподнесли подарки и венок от театра «Артистического общества». Поблагодарив, Федор Иванович сказал, что каждая память о



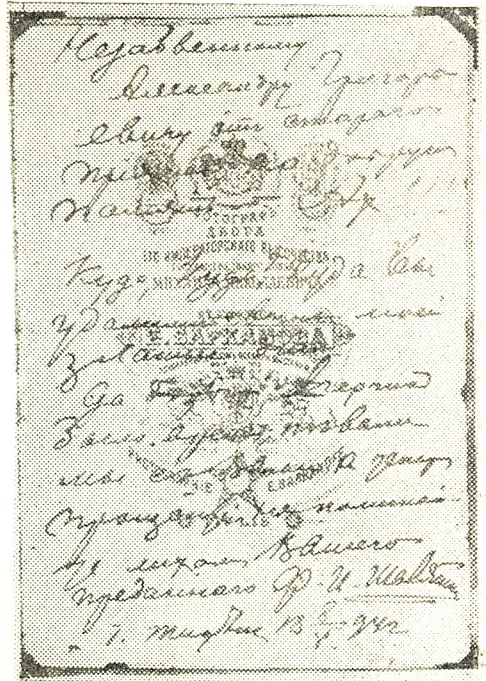
Фотография Ф. И. Шаляпина, подаренная им своему другу по кружку Ариуни в Тифлисе А. Г. Рчеулову. Фотография публикуется впервые.

городе, где он начинал свой путь, ему чрезвычайно дорога. После окончания концерта его оживил еще один сюрприз: к нему в уборную пришли старые друзья — В. Д. Корганов, член музыкального общества зубной врач Николай Ильич Камаев, пианист Степан Давидович Мирзоев. Встреча была трогательной и закончилась поздно вечером в номере гостиницы, где остановился артист.

«По окончании концерта, затянувшегося далеко за полночь, — писал «Голос Кавказа», — густая толпа ждала своего родного соловья, чтобы еще раз приветствовать его и выкрикнуть слова восторга и восхищения». Об этом же сообщала и столичная газета «Русское слово»: «Нам телеграфируют из Тифлиса: вчера с громадным успехом состоялся концерт Федора Ивановича Шаляпина, двадцать лет тому назад начинавшего здесь свою сценическую карьеру. Громадная толпа у подъезда театра устроила певцу шумную овацию». Оценивая выступление артиста, газета «Закавказье» писала: «...надо быть великим художником, чтобы на концертной эстраде творить образы, давать ти-

пы, давать иллюзии явлений природы, давать философию понятия (движение) и все это с помощью человеческого голоса. Такие художники творят эпоху. И переживаемую нами эпоху русского искусства мы бы назвали эпохой Шаляпина».

На следующий день Федор Иванович уезжал в Баку. Утром он гулял по городу, вспоминая места, где прошла его юность. Долго стоял он у дома на Воскресенской улице, где жил Усатов, нашел подвал на Саперной улице, где ютился, когда был хористом. А потом пошел на Давидовскую улицу, к С. Д. Мирзоеву. Там его уже ждали друзья. Степан Давидович сел за рояль, и несколько часов из окон его квартиры слышалось пение Шаляпина: он исполнял все, что его просили, никому не отказывая. Уходя, он сказал, что сбор от концерта жертвует в пользу учащихся женщины.



Надпись Шаляпина на оборотной стороне: «Незабвенному Александру Григорьевичу от старого приятеля на добрую память... Ах!!! Куда, куда, куда вы удалились, весны моей златые дни. Да, дорогой Аверчик, было время, певали мы с вами, а теперь прощайте, не забывайте лихом Вашего преданного Ф. И. Шаляпина». г. Тифлис. 1894 г. 8 мая.

В марте 1915 года Федор Иванович получил письмо от Корганова, в котором он напомнил Шаляпину о том, что исполняется 25-летие его жизни в искусстве; и в связи с этим он должен приехать в город, где начинал свой путь. В ответ Шаляпин обещал обязательно приехать, по всей вероятности, в начале мая.

Корганов понимал, что артисту, до предела загруженному работой в театре, новыми ролями, зарубежными гастролями, поездками по России, нелегко выполнять неоднократные обещания в письмах — приехать в Тифлис. Но он все же надеялся. Поскольку Шаляпин каждый раз, когда отмечался юбилей его работы в театре, находил возможность побывать в городе, ставшем колыбелью его творчества. Так было в 1900 году, когда праздновалось десятилетие его службы на сцене, в 1910 году, когда торжественно отмечался его 20-летний юбилей. Не изменил он своему обычаю и в 1915 году. Правда, Федор Иванович категорически отказался, учитывая военное время, принимать участие в вечерах, посвященных четверти века его работы в театре.

Шаляпин приехал в Тифлис утром 12 мая из Баку. Но концерт, назначенный на этот день, пришлось отложить в связи с перенесенной им простудой.

К Федору Ивановичу началось настоящее поломничество. Приходили друзья, артисты, музыканты, антрепренеры, просто поклонники.

Корреспонденту «Тифлисского листка» он рассказал: «Поездка моя в Баку и Тифлис радует меня чрезвычайно. С этими городами у меня связано много воспоминаний. Особенно меня радует пребывание в Тифлисе, где я в свое время начал оперную карьеру, выступая певцом в местной опере. Мне не приходится жаловаться на прием, оказываемый мне на Кавказе. Он носит очень теплый характер...»

Толпы людей провожали его по улице, восторженно приветствовали, где бы он ни появлялся — в гостинице, театре, ресторане, парке. Сопровождавшие его в поездке скрипач Б. Л. Ласс и молодой пианист Р. И. Мервольф, привыкшие, казалось, к восторженному приему, который оказывали Шаляпину во всех городах

России, утверждали, что ничего подобного им еще не приходилось видеть.

Сбор от своего концерта Шаляпин отдаст для помощи народам Кавказа, пострадавшим от войны. Поскольку линия русско-турецкого фронта проходила недалеко, в Тифлисе было много беженцев-аджарцев, пострадавших больше других. И пожертвование Шаляпина не могло не вызвать к нему еще больших симпатий. В беседе с корреспондентом «Тифлисского листка» он заявил: «Дать концерт в Тифлисе с подобной целью я считаю своей нравственной обязанностью, так как, повторяю, с Тифлисом у меня связано много ценных воспоминаний».

В тот же день он дал интервью корреспонденту «Кавказского слова»: «На мою долю выпал редкий счастливый жребий: я родился дважды. Первый раз физически на Волге в Казани, второй духовно — у вас в Тифлисе — для музыки... Как же мне сюда не приехать? Последний раз я был в Тифлисе пять лет тому назад. Порывался за эти годы много раз приехать, повидать места и людей, с которыми я так тесно связан, но все как-то не хватало времени. То работа на нашей сцене, то гастроль в Лондоне, Америке, то, наконец, работа над собой, новыми партиями, — все это лишало меня возможности приехать сюда. Теперь, когда кругом столько страданий, когда и Кавказ подвергся общей участи, я считал своим моральным долгом хоть чем-нибудь придти на помощь... Конечно, моя лодка — капля в море, но «чем богат, тем и рад»... Буду работать и делать все, что в моих силах, чтобы придти на помощь нашим страдальцам. Два лазарета я уже открыл; надо будет, открою еще. Я слишком обязан родине и не вправе, не могу забыть ее теперь».

Отвечая на вопрос о тифлиских зрителях и слушателях, Федор Иванович сказал: «Ваша публика по-прежнему очень чутка к музыке. Я издали следил за этим и вижу, что все лучшее в музыкальном мире находит у вас горячий прием. Это у нас в столицах знают и потому без риска едут к вам. На днях у вас концерт вокального квартета Чупрыникова, Сафонова и двух братьев Кедровых. Они скромные люди, прекрасные музыканты и певцы, боялись к

вам ехать. Я их ободрил и заверил, что тифлисцы их сумеют оценить. Говорил им это совершенно искренне, так как их прекрасно знаю».

Концерт Шаляпина состоялся 15 мая в помещении оперного театра. Естественно, что задолго до этого дня все билеты были проданы.

Овации после каждого номера сотрясали зал. Артист буквально был засыпан цветами, охотно пел на бис, не заставляя себя долго просить. Чувствовалось, что он тоже взволнован этой встречей.

Занавес опустили только в половине первого ночи. Но и после этого публика не отходила от рампы, беспреестанно вызывая певца. А когда Шаляпин решил скрыться через служебный выход, увидел на улице всех, кто был в зале. Люди терпеливо ждали, чтобы еще раз поблагодарить любимого артиста. По утверждению «Тифлисского листа», «в этот день в Тифлисе был праздник искусства, а в лице Шаляпина нам жизнь послала самое драгоценное, самое совершенное свое творение».

В воскресенье, 17 мая, по приглашению руководителей Тифлисского отделения русского музыкального общества Федор Иванович посетил музыкальное училище. Шли экзамены окончивших его по классам фортепиано, духовых инструментов, виолончели, скрипки и вокала. Шаляпин осмотрел классы, а потом пошел в концертный зал, где были публичные выпускные экзамены. Одна из учениц играла на скрипке. Федор Иванович подождал у двери, пока она закончит, а потом вошел. Увидев его, публика в партере и на хорах, ученики и экзаменаторы встали, и началась овация, длившаяся несколько минут. Растроганный артист пошел по залу и сел во втором ряду. Экзамен продолжался. Слушали певца Леонтия Троценко, потом пианиста Сергея Сидякина. Шаляпин подошел к преподавателям Е. К. Ряднову и И. С. Айсбергу, поблагодарил их за хорошую подготовку учеников, отметил свежие голоса певцов и одаренность пианиста.

Когда Федор Иванович собрался уходить, опять начались аплодисменты, а один из преподавателей выступил с приветствием от имени присутствующих. Взволнованный Шаляпин ответил очень поэтической речью. Он сказал, что ему «отрадно видеть, как

в Тифлисе, наряду с солнцем, теплом и цветами дает свои плоды и расцвет талантов, появление которых у света русской рампы я могу только приветствовать». Сердечными словами напутствовал он молодежь, посвятившую себя искусству, и пожелал ей никогда не забывать родной Тифлис. Это вызвало новый взрыв аплодисментов. Эти воспоминания взволновали артиста, на глаза набегали слезы.

18 мая состоялся еще один концерт Шаляпина. На нем повторилось все то же, что и на предыдущем. «Закавказская речь» писала: «Шаляпин — это чародей звуков, и под его могучей властью они творят чудо».

Утром 20 мая Федор Иванович попрощался с Тифлисом: торопился на концерт в Петроград. Он поехал по Военно-Грузинской дороге — через Владикавказ. (Еще только приехав в Тифлис, он говорил корреспондентам: «Хочу возвратиться с Кавказа по Военно-Грузинской дороге. Уж больно она величественна и на редкость красива. Если бы не срочный концерт в Петрограде, готов идти пешком...») В кармане у него лежал документ об избрании его почетным гражданином Тифлиса, а багажом был отправлен в Петроград подарок благодарных тифлисцев — старинный ковер редкой работы. И московские и петроградские журналы и газеты не прошли мимо гастроль Шаляпина в Тифлисе. «Театральная газета» писала, что Шаляпин «встретил такой задушевный прием, какого он, по его собственному признанию, никогда не встречал». «В этот приезд, — заявлял «Театр и искусство», — великий артист был в необычайном ударе и с величайшей готовностью без конца бисировал лучшие номера своего репертуара». В следующем номере «Театральная газета» писала: «Встреча тифлисцев со своим старым знакомцем, в свое время начинавшим в Тифлисе свою оперную карьеру, вышла помпезной и задушевной и вызвала ряд чествований артиста в столице Грузии».

Шаляпин вернулся в Петербург 24 мая. Когда корреспондент «Русского слова» попросил его поделиться впечатлениями о концертах в Грузии, Федор Иванович ответил коротко: «Тифлис для меня родной город».

* * *

Первые годы после революции были у Шаляпина временем большого, творчески насыщенного труда — он много выступал в операх, часто пел в концертах на больших эстрадах перед рабочей аудиторией. Грузия следовала за успехами Шаляпина («Кавказская рампа» в 1918 году назвала его в числе тех «музыкантов, поэтов, художников, которых мы давно уже считаем своими, родными»). Как только в Грузии установилась Советская власть, И. Н. Церестиани пригласил старого друга приехать в Тифлис. Федор Иванович в письме от 7 мая 1921 года ответил: «Не могу, брат, приехать в мой милый Тифлис и вообще на Кавказ. Огорчен очень. Я так люблю эту дивную страну. Мечтаю даже иногда о розах, о солнце, о вине. Сейчас все так скомбинировано, что нет ни одного

свободного дня. Если бы я знал раньше! Буду думать о будущем годе. Прошу очень тебя: передай милым кавказцам, что я в моей любви к ним и к их Кавказу, что называется, «неизменен и велик». Шлю им самый горячий мой привет из глубины сердца».

Скоро после этого Шаляпин уехал на гастроли за границу и больше не возвратился на родину. Тоскуя по ней, он часто вспоминал и о Грузии, о Тифлисе, о своих друзьях на Кавказе. Об этом рассказывал сын артиста художник Борис Шаляпин, который приезжал недавно в Советский Союз. А другой его сын Федор Федорович Шаляпин написал нам: «Хотя сам я, к сожалению, в Тифлисе никогда не бывал, мне кажется, что я видел его, — так много знаю про этот волшебный город от отца, который с любовью рассказывал мне о нем».

Подписано к печати 22 ноября 1962 г. 6 печ. листов

Формат бумаги 70 × 108¹/₁₆.

Тираж 2700

Заказ № 1579

УД 10384

Цена 40 коп.

ჟურნალი „ლიტერატურნაია გრუნა“

(რუსულ ენაზე)

საქართველოს მწერალთა კავშირის გამომცემლობა „ზარია ვოსტოკა“

Типография издательства ЦК КП Грузии «Заря Востока»
им. А. Ф. Мясникова, Тбилиси, проспект Руставели, 42.

ЖУРНАЛ

ЛИТЕРАТУРНАЯ

ГРУЗИЯ

В ПЕРВЫХ НОМЕРАХ 1963 ГОДА

ПУБЛИКУЕТ

СЛЕДУЮЩИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

КОНСТАНТИН ГАМСАХУРДИА

Иосиф великий

РАССКАЗ

КОНСТАНТИН ЛОРДКИПАНИДЗЕ

Новые рассказы

ДЕМНА ШЕНГЕЛАЯ

Прыжок оленя

ПОВЕСТЬ

ИРАКЛИЙ АБАШИДЗЕ

Дневник путешественника

ОРДЗ ДГЕБУАДЗЕ

Королева зари

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

ЗММАНУИЛ ФЕЙГИН

Мальчик пляшет под

НОДАР ДУМБАДЗЕ

Я вижу солнце

ПОВЕСТЬ

АВТАНДИЛ ГОГОБЕРИДЗЕ

На стадионах мира